



ТИМ СКОРЕНКО

ЛЕГЕНДЫ НЕИЗВЕСТНОЙ АМЕРИКИ



АВТОР — НОМИНАНТ ПРЕМИЙ «БОЛЬШАЯ КНИГА», «НАЦБЕСТ»
И «ПРОСВЕТИТЕЛЬ», ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ «БРОНЗОВАЯ УЛИТКА»

Суперпроза

Тим Скоренко

Легенды неизвестной Америки

«Издательство АСТ»

2019

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос = Рус)6

Скоренко Т. Ю.

Легенды неизвестной Америки / Т. Ю. Скоренко —
«Издательство АСТ», 2019 — (Суперпроза)

ISBN 978-5-17-115877-4

Великий автогонщик Рэд Байрон и прекрасные сёстры Сазерленд, скрывающийся от правосудия нацистский преступник и слепоглухонемая девушка, первое посольство США в Москве и военные действия в китайском Нанкине, провинциальные гангстеры 30-х и дикий паровоз инженера Холмана. Кажется бы, между героями и реалиями этой книги нет ничего общего: многие из них вымышлены, иные же существовали на самом деле, реальность смешивается с фантазией, XIX век мерно перетекает в XXI. Удивительные истории, захватывающие сюжеты, живые легенды, сплетающиеся на страницах романа, охватывают значительный временной период, и единственное, что их объединяет, — это то, что все они могли произойти на самом деле. Или — пусть остаётся крошечная вероятность! — на самом деле произошли.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос = Рус)6

ISBN 978-5-17-115877-4

© Скоренко Т. Ю., 2019
© Издательство АСТ, 2019

Содержание

Предисловие составителя	6
Россия, тридцать шестой	7
Последняя гонка Рэда Байрона	18
Ковёр из женских волос	32
История ковра	34
Шкатулка с пряностями	42
Конец ознакомительного фрагмента.	50

Тим Скоренко

Легенды неизвестной Америки

© Тим Скоренко, текст, 2019

© ООО «Издательство АСТ», 2019

Предисловие составителя

Меня зовут Джеймс Хьюстон. Я старик, глубокий старик. У меня есть дом, пенсия и потрёпанный «Понтиак», на котором я выезжаю в город за покупками. Я не нажил друзей и врагов, у меня никогда не было семьи, я легко расставался с теми, кто мог бы стать частью меня.

Но есть у меня кое-что другое. Моисей ходил по равнине сорок лет. Я ездил по Америке – пятьдесят. За полвека я собрал сотни историй. Их рассказывали мужчины и женщины, дети и старики, доктора наук и подсобные рабочие. Я собирал эти истории, обрабатывал, располагал в хронологическом порядке и хранил. В принципе, этот труд ещё не окончен, но я посчитал нужным отобрать четырнадцать историй, которые запомнились более всего, – и поместил их в эту книгу.

Они разные. Действующие лица большинства историй – известные люди. Великий автогонщик Рэд Байрон, журналистка Айрис Чан, семь сестёр Сазерленд, изобретатель Холман и многие другие существовали на самом деле и обрели славу ещё при жизни. Вы можете найти их биографии в различных справочниках и энциклопедиях. Некоторые истории совершенно нереальны: скорее всего, рассказчики их просто выдумали.

Собирая все эти истории, я руководствовался одним-единственным принципом. Я хотел показать вам настоящую Америку. Не ту, что вы видите в кино. Не ту, о которой читаете в детективах. Не ту, о которой вам рассказывают в новостях.

Поверьте мне, Америка – совсем другая. Когда-то в ней жили – да и теперь встречаются – смелые, сильные и благородные люди. Они не боялись войти в огонь, чтобы спасти друга, они всегда были готовы к авантюрам, они умели жить на полную катушку, на максимальной скорости, потому что не хотели жить иначе.

Я люблю эту страну. И хочу, чтобы вы хотя бы на время прочтения попытались посмотреть на Америку моими глазами. На мою, не известную вам Америку.

Россия, тридцать шестой

Меня зовут Джедедайя Джонсон. Мне нечего бояться. Времена, когда моё имя могло мне повредить, давно прошли; сегодня я – никому не нужный старик на окраине империи. Впрочем, современная империя ни в чём не сравнится с той, которую я застал пятьдесят лет назад.

Мой отец двояко относился к собственной фамилии. С одной стороны, он гордился ею и частенько начинал очередную фразу словами «мы, Джонсоны...». С другой стороны, он стеснялся обыденности этой фамилии, её распространённости. И поэтому наградил меня достаточно редким именем. Я благодарен ему: когда я учился в школе, в моём классе было одиннадцать Джонов. А Джедедайя – один.

Но моя история не об этом. Моя история – о человеке по имени Андрей Кульковский, моём друге. Я горд тем, что могу написать о нём «мой друг» и при этом не покривить душой. Я никогда не встречал подобных ему людей на своей родине, в Соединённых Штатах. Не подумайте плохого, я люблю свою страну. Но мы начинали мельчать уже тогда, в тридцатые, нас подкосила Великая депрессия и дешёвые сигареты, мы стали пустым местом на карте. А они... Они тогда были сильнее нас. И сейчас они – сильнее нас.

Я снова отвлекаюсь. Мне можно простить, я надеюсь. Восемьдесят девять лет – немало.

Осенью 1933 года в Соединённые Штаты приехал Максим Литвинов, министр иностранных дел СССР. Насколько я помню, у них это называлось не министерство, а народный комиссариат, хотя мне привычнее говорить «министерство». Гораздо позже я узнал, что человека с русской фамилией Литвинов на самом деле звали Меер-Генох Валлах, и он был чистокровным евреем. Я, американец, могу сказать вам: быть евреем трудно даже здесь, в США. В СССР, насколько я знаю, это было просто невозможно.

Во время нашей первой встречи в тридцать третьем Литвинов – полный, невысокий, под шестьдесят – показался мне неприятным человеком с туповатым взглядом. Но с Рузвельтом он беседовал за закрытыми дверями, и итогом этой беседы стало соглашение о сотрудничестве двух великих держав. Впрочем, я не думаю, что в этом была заслуга русского министра. Рузвельт никогда не скрывал, что рассматривает Советский Союз в качестве огромного рынка. Впоследствии он воспользовался этим рынком в полной мере, поставляя технику и товары по ленд-лизу, но это уже совсем другая история.

В том же году начали спешно готовить группу, должную стать посольством США в Москве. Послом был назначен Вилли Буллит, худой, загорелый, лысоватый, необыкновенно умный человек, который умел говорить любую чушь так, что ему безоговорочно верили.

Как раз тогда мне исполнилось сорок три. Я был уже не юн, но больших успехов в жизни не добился. Единственное, к чему я имел талант, так это к языкам. Свободно говорил по-французски, по-итальянски, по-испански, а также по-русски и по-польски (особенно трудно мне дался последний). Буллит знал меня как хорошего переводчика и пригласил в свою команду.

Мог ли я отказаться? Конечно, нет. Последнее американское посольство в России закрылось в 1919 году, и в течение четырнадцати лет отношения между нашими странами были очень напряжёнными. Какие-то отдельные американцы в СССР приезжали, но средний гражданин США не мог и подумать о том, чтобы посетить эту огромную и страшную державу. И я схватился за такую возможность. Побывать в СССР, чтобы потом вернуться и всем рассказывать о нём.

Кстати, тогда Сталин ещё не был столь легендарной фигурой, как сейчас. К тому времени он находился у власти всего лишь девять лет (или около того – я до сих пор не могу понять, кто правил страной в последние два года жизни Ленина) и не успел создать вокруг себя ореол страха.

В общем, в декабре 1933 года мы отправились в неизведанное. Каждый представитель делегации воспринимал это плавание по-своему. Буллит выглядел веселым и хладнокровным – его ничто не могло пробить, тем более что он уже бывал в Союзе на ответных переговорах, связанных с организацией посольства. Мартин Гэбриэл почему-то боялся, что его в Советской России сразу убьют. Он был евреем, а слухи о невесёлой жизни евреев в СССР дошли и до наших ушей. Мы успокаивали Гэбриэла: мол, он же гражданин США, и для него никакой опасности нет. Лидс хотел взять с собой супругу, но они о чём-то повздорили, она отказалась ехать, поэтому он был в гнусном настроении. Некоторые, напротив, радовались поездке в Москву.

Буллита поселили в старинном особняке Второва, или Спасо-Хаусе; там же жили ещё некоторые члены миссии, в том числе личный переводчик Буллита Чарли Тейер. Но в Спасо-Хаусе по-прежнему квартировались обычные советские граждане, которые принимали весть о своём выселении крайне неохотно. В течение всего 1934 года Спасо-Хаус был, скорее, Спасо-Хаосом – он одновременно выполнял функции посольства, гостиницы, жилого дома, там постоянно отсутствовала вода, а телефон ни дня не работал по-человечески. Буллит всё ожидал, что для американского посольства построят отдельное здание, но так и не дождался.

Нас, рядовых сотрудников, разместили в гостиницах или на квартирах в самом центре города. Большинство поселили в старом доме, выходящем окнами на одну из маленьких московских улочек. Особенно я любил гулять по центральным переулкам зимой, вдыхать морозный воздух и говорить себе: я в Москве, в России, – и при этом не верить собственным словам.

В этом же доме жили несколько чиновников из коммунистической партии, а также обычные граждане. Позже мне объяснили, что обычных граждан к иностранцам не подпускают. Конечно, все они были сотрудниками соответствующих органов, наблюдателями. Но, честно говоря, ни разу за всё время проживания на квартире я не почувствовал напряжения. Они приходили к нам в гости с домашними огурчиками и вареньем, шёпотом рассказывали околополитические анекдоты и сетовали на то, что в магазинах не хватает тех или иных продуктов.

Примерно тогда же я с удивлением узнал, что ещё в начале 1933 года в стране буйствовал голод. Хлеба не было, не было ничего, люди напоминали узников немецких концлагерей (само собой, немецкие лагеря появились позже, но сейчас это сравнение кажется мне наилучшим), село вымирало. Тогда я так и не понял причин голода. Советский Союз представлялся мне огромной житницей – его полей и лугов хватило бы, чтобы накормить весь мир и ещё отложить на чёрный день.

Надо сказать, что и в 1934 году жизнь была не слишком сытой. У нас было вдоволь всего – хлеба, масла, мяса, молока, шоколада; более того, нам поставляли продукты зарубежного производства, а одежду мы получали из США. Простой советский человек жил нище. Продукты нельзя было купить, только получить по продовольственным карточкам; рабочим полагалась в месяц такая порция, которой мне хватило бы едва ли на неделю.

Ладно, не буду дальше расписывать ужасы советского быта. Те, с кем мне довелось познакомиться – весёлые, неунывающие, приятные люди, – не сдавались, жили так, как умели.

* * *

Мне выделили трёхкомнатную квартиру с высоченными, за двенадцать футов, потолками. Прогреть её было совершенно невозможно, хотя дрова нам поставляли исправно (как прогревали свои квартиры простые люди, я не понимаю до сих пор). Насколько я знал, в городе царствовало уплотнение: люди жили по трое-четверо в комнате; в моём же распоряжении была целая квартира.

Нам рекомендовали не ходить по городу без сопровождения, хотя в теории американский гражданин мог свободно посещать любые районы Москвы и смотреть на обыденную жизнь советских граждан. Как раз в это время производился массовый перевод на паспортную

систему учёта населения: кто раньше был записан разве что в церковно-приходской книге (это условное обозначение – я вообще не знаю, как учитывали граждан в Союзе до введения паспортов), тот получал документ, по которому приписывался к определённом месту жительства. Переезды с места на место стали затруднительны, особенно для крестьян, которые во время голода активно стекались в города. Веду я к тому, что документы проверяли на каждом углу. Мы не слишком опасались таких проверок. Даже если бы меня поймали в «неправильном» районе города, максимум что сделали бы – отправили под конвоем обратно в посольство или в квартиру. А вот беспорядок с документами у советского гражданина мог привести к гораздо более неприятным последствиям.

Конечно, мы нарушали запреты. Мне было интересно всё. Кремль мы посещали достаточно часто (само посольство располагалось в двух шагах от Красной площади, на одной из улочек за Верхними торговыми рядами), храм Василия Блаженного и остальные достопримечательности центра порядком приелись, и нам хотелось посмотреть на настоящую Москву. Нищую, грязную, с грохочущими трамваями и покосившимися деревянными домишками.

К тому времени уже бурно строилось метро, но до его открытия оставалось около полугода (хотя обещали открыть ещё осенью 1934 года). А трамваи были везде. Порядка пятидесяти маршрутов покрывали весь город, даже в самый отдалённый район можно было добраться без серьёзных проблем.

Мы ездили обычно по два-три человека. В моей «тройке» были ещё Стив Уиллис, посольский фотограф, и Роберт Кауден, один из младших секретарей. Теоретически за нами должен был приглядывать русский сотрудник, но мы умели обходиться без его «услуг». Я выходил якобы за дровами, Стив выбирался через окно двери заднего хода (сама дверь была забита), Роб забалтывал соглядатая и отправлял его за сигаретами. Где-то раз в неделю мы обязательно выбирались в город.

Я говорил по-русски почти без акцента. Тем не менее иностранца во мне распознавали сразу, даже если я молчал – по покрою одежды, манере держаться. Поэтому со временем я обзавёлся жутковатыми валенками с галошами, серым пиджаком из плохой ткани, штанами военного покроя. И, конечно, картузом. Выглядеть импозантно, чересчур заметно в Москве было не принято.

Март 1935 года был достаточно тёплым. Однажды я выбрался в город один, без сопровождения. К тому времени я отточил свой русский до такой степени, что мой акцент напоминал скорее неправильную речь жителя Дальнего Востока, а никак не американца. Я копировал повадки и одежду, внешний вид и даже взгляд советского человека. Так мимикрирует гусеница, чтобы стать похожей на веточку и не попасть на обед к птице. В том самом марте я и встретил Андрея Кульковского.

* * *

Собственно, слово «встретил» не очень подходит к обстоятельствам нашего знакомства. Андрея приставили ко мне после того, как мой куратор в очередной раз прокололся и упустил меня в городе. Я шёл впереди, куратор – футах в тридцати позади, а потом я увидел очередь и встал в неё. Куратор подождал, пока за мной накопится десяток человек, и тоже встал в очередь. Меня поразило, что советскому человеку было неважно, что дают. Очередь сразу вызывала желание в неё встать, а уж вопрос о том, что ожидает покупателя в конце, был вторичен. К марту уже отменили карточки на хлеб, крупу, часть мучных изделий, жить стало чуть проще (опять же, я говорю не о себе – у американцев было всё, что нужно). Я так и не узнал, за чем выстроилась очередь, – ни человек за мной, ни человек передо мной не могли сказать ничего путного. Но я каким-то образом сумел протолкнуться ближе к началу столпотворения, потом

несколько раз мелькнул то слева, то справа от хвоста очереди, а потом пропал. В смысле пропал для наблюдателя.

В тот день я поехал на Калужскую заставу. Туда можно было добраться на «семёрке» или двадцать шестом, мне попался последний. Близ Калужской заставы находился парк культуры и отдыха. Мне там нравилось. К середине марта деревья ещё не покрылись листвой, но птицы уже пели вовсю, а бесформенные пальто и ватники на девушках превращались в утеплённые, но подчёркивающие фигуры платья. Светило солнце, по парку гуляли парочки. Я провёл там около двух часов, попивая лимонад, взятый с собой из посольских запасов.

А когда я вернулся, оказалось, что моего куратора больше нет. У дверей квартиры меня ждала мрачная троица из наркомата по иностранным делам. Мы зашли в квартиру, и со мной долго и серьёзно беседовали. В разговоре фигурировали такие словосочетания, как «не рекомендуется», «чревато дипломатическими проблемами», «навлекаете тень на отношения между нашими государствами» и так далее. Они предъявили мне бумаги, подписанные лично Крестинским, тогда – первым заместителем наркома иностранных дел СССР. Позже, в тридцать восьмом, его арестовали и расстреляли, жену отправили в лагерь, а дочь – в ссылку. Но в начале тридцать пятого Крестинский был влиятельной персоной.

Сначала никто из троих «гостей» не представился. Через полчаса двое поднялись, а третий остался сидеть.

«А Андрей Васильевич временно поживёт у вас», – сказал один из уходящих.

Вот так запросто ко мне в квартиру подселили соглядатая.

Он занял комнату, самую близкую к выходу, и никогда не закрывался. Таким образом, пройти мимо него незамеченным было практически невозможно. Конечно, он отлучался по своим делам, но крайне редко – и в самое неудобное для меня время. Когда я работал целыми днями, я его не видел, а вот когда выпадал выходной, Андрей был тут как тут. У него получалось вести себя естественно, точно он не более чем мой сосед. С ним было легко разговаривать, он умело обходил запретные темы, зато результаты первенства СССР по футболу обсуждал с радостью и энтузиазмом. В 1933–1934 годах турниры не проходили ввиду сложного экономического положения и отсутствия организации; Андрей очень любил футбол и за два года перерыва заметно соскучился. Он болел за Москву и почему-то очень боялся успеха харьковской сборной, хотя единственным реальным соперником москвичей была ленинградская команда.

Собственно, в марте-апреле Андрей меня практически не стеснял, потому что работы было выше крыши. На апрель наметили серьёзный приём в Спасо-Хаусе, откуда наконец-то выселили всех, кто не имел отношения к посольству, и даже провели лёгкий ремонт. На «Весеннем фестивале» 24 апреля 1935 года присутствовали Ворошилов, Каганович, Радек, Бухарин, Будённый, Тухачевский. Мероприятие организовывал Чарли Тейер, он договорился с зоопарком об «аренде» множества певчих птиц, нескольких горных коз и медвежонка, а также установил в приёмном зале особняка Второва искусственный берёзовый лес. Приём прошёл на ура, только вот присутствие животных плачевно сказалось на состоянии особняка. В итоге Буллит заставил Тейера лично убирать отходы наряду с нанятыми уборщиками и дворниками. Самым комическим событием того вечера стал момент, когда медвежонок вырвало на мундир какого-то генерала, потому что неунывающий Радек подлил животному в молоко шампанское. Тут стоит заметить, что Радека убили в тюрьме в 1939 году – никого не щадила сталинская машина.

Ладно, я достаточно далеко ушёл от сути повествования, самое время к нему вернуться.

Присутствие Андрея я начал ощущать где-то с мая, когда наступило некоторое затишье в работе. Затишье длилось недолго, потому что в июле Коммунистическая партия СССР пригласила Компартию США на VII конгресс Коминтерна в Москву. Буллит воспринял это как личное оскорбление: американская компартия была не в почёте у официальных властей. Кроме

того, переговоры о выплате Союзом царских долгов постепенно зашли в тупик. С конца лета отношение к американцам ухудшилось.

А мы с Андреем находили всё больше и больше общих тем. Он оказался прекрасным собеседником. Его интересовало всё. В какой-то мере он выполнял свою работу: выяснить как можно больше о главном идеологическом сопернике СССР. Он составлял отчёты о наших разговорах, аккуратно переплетал их и передавал куда-то наверх, в разведывательные службы (точнее я сказать не могу). Но, в принципе, я не знал ничего такого, что могло бы повредить моей стране. К тридцать пятому году она постепенно начала выползать из бездны Великой депрессии, но грабители были по-прежнему популярнее банкиров, а на улицах пели песни и выставляли транспаранты с именами Бонни и Клайда (их убили в тридцать четвёртом, я узнал об этом от Гэбриэла, их страстного поклонника).

Я рассказывал Андрею про наши магазины до и после депрессии (поверьте, между этими двумя рассказами – огромная разница), про толпы собирателей хлопка и мигрантов, про свежие модели «Форда», про рекламу на улицах, да про всё на свете. Он никогда не пытался выяснить ничего предосудительного, не спрашивал о во оружии или местоположении каких-либо государственных служб. Зато он часто переводил разговор на футбол. Про футбол в США я, честно говоря, не знал практически ничего. Я хорошо разбирался в бейсболе и прочитал Андрею несколько лекций на эту тему. А летом тридцать пятого мы ходили на матч между сборными Москвы и Ленинграда – мне понравилось. Впоследствии я увлёкся футболом и неоднократно посещал матчи уже по возвращении на родину.

Андрей пил. В общем-то, пили все. Это было нормально – не только для СССР, но и для нашей страны. Просто у нас пили по какой-то причине. Например, ушла жена или, наоборот, встретила новая любовь. А в СССР пили просто так – потому, что нужно. Опять же, я хорошо понимал этих людей. Алкоголь часто был единственным выходом.

Пил Андрей традиционно – как сегодня показывают в наших кинофильмах. Водка, огурчик, помидорчик. Иногда – макароны. Он практически не пьянел, но становился откровеннее, свободнее. Говорил он тихо, нагибаясь ко мне; я терпел исходящий от него неприятный запах, потому что мне было интересно слушать.

«Тебе ничего не будет, Джед, – говорил он. – А меня заберут. Точно-точно, заберут. И Крестинского заберут, говорю. И Литвинова заберут. Только Микояна не заберут».

«Почему?» – спрашивал я.

«Потому что... тс-с!» – отвечал он и пьяно болтал головой из стороны в сторону.

Насчёт Крестинского он не ошибся. А вот Литвинова так и не забрали. Он умер своей смертью в 1951 году. С ним я пересекался ещё не раз уже в Америке – во время мировой войны он был послом Союза в США.

Не думайте, что мы много говорили о политике. Это всё же была запретная тема. Но совсем не всплывать она не могла.

* * *

Как я уже упоминал, летом 1935 года отношение Буллита к советскому правительству начало стремительно ухудшаться. Он всё ещё пытался наладить отношения путём проведения на территории Спасо-Хауса музыкальных вечеров и званных приёмов, но для большой политики эти игрища были разменной монетой. Кстати, на одном из вечеров сам Прокофьев дирижировал оркестром, исполнявшим «Любовь к трём апельсинам» (вскоре после этого вечера Прокофьев окончательно вернулся в СССР из эмиграции).

У меня было довольно много работы, но зато я снова начал выбираться в город. Я гулял по московским паркам, особенно любил Воробьёвы горы. Я ехал на «семёрке» до станции Воробьёво, выходил и медленно шёл по тропинке, глядя на город с высоты. Андрей неизменно

сопровождал меня. Или шёл рядом, когда у меня была охота поговорить, или отставал на полсотни футов, когда мне хотелось побыть одному.

Во время одной из таких прогулок я встретил Лену. Она сидела на скамейке спиной к обрыву и смотрела на деревья. Шёл июль, было жарко, по тропинкам гуляли люди, а она сидела, и какая-то печаль была в её глазах, точно застарелое горе пытается вырваться из глубины, но не может. И я присел рядом. Андрей сел на соседнюю скамейку и демонстративно отвернулся.

Как он рассказал мне позже, в его обязанности входило пресечение контактов американцев с советскими женщинами. Но я к тому моменту стал для него в какой-то мере другом. В нетрезвом состоянии Андрей однажды сказал, что он по меркам советского государства – «неблагонадёжный». Может, я – шпион, а он со мной пьёт и разговоры ведёт.

Сложно сказать, почему я сел рядом с Леной. Я даже не знал, хочу ли разговаривать с ней. На вид ей было лет тридцать пять (как выяснилось позже, я попал в точку). Худенькая, усталая, красавицей никак не назовёшь, хотя в юности она наверняка казалась парням миленькой. Такие девушки провожают солдатиков на войну в патриотических фильмах.

«Добрый день», – сказал я.

Она наклонила голову, точно птичка, и кивнула в ответ. Я понял её мысль сразу: в наше время люди не знакомятся на улицах.

«Меня зовут Джек».

«Как?» – Она чуть нахмурилась.

«Я сотрудник американского посольства. Американец. Джедедай Джонсон. Переводчик».

Тогда я думал, что она впервые видит настоящего иностранца. Но я ошибся. Она была дочерью зажиточного мещанина, и ещё до революции к ним в гости заходили французы и англичане. Кое-кто даже просил её руки в шестнадцатом году, но февральские события полностью перевернули её жизнь.

«А я – Лена», – представилась она.

Надо сказать, что здесь поток моего красноречия истощился. Внешне я был так себе – полноватый, с намечающимися «бульдожьими щёчками», с тонкими светлыми волосами средней густоты, курносый. И вечный холостяк со всеми соответствующими замашками. Конечно, у меня были девушки в молодости, даже невеста. Да и в возрасте за тридцать я иногда заводил пашни с женщинами. Но всё равно опыт мой в этой области был весьма невелик.

И я молчал. Я сидел рядом с ней и молчал, как полный дурак.

«Что же вы молчите?» – спросила она.

Я улыбнулся:

«Не знаю, что сказать».

Она улыбнулась в ответ. Так мы и познакомились.

Сложно сказать, было ли у нас хоть что-то общее. Мы несколько раз ходили в кино. Кстати, походы в кино поощрялись: американские граждане могли видеть на экране, как хорошо, весело и богато на самом деле живут простые советские люди. На «Весёлых ребят» нас водили несколько раз – официально, всем посольством. В 1935 году состоялся I Международный московский кинофестиваль, и до конца года крутили различные фильмы, чьи премьеры прошли в его рамках. Конечно, лидировал «Чапаев», от которого было просто невозможно скрыться. Киноафиши были единственным видом рекламы, дозволенным в СССР, и героический взгляд советского полководца буравил меня практически с каждого столба, хотя впервые «Чапаева» показали ещё осенью тридцать четвёртого.

Мы с Леной смотрели «Горячие денёчки», «Гибель сенсации», позже, зимой, – «Сокровище погибшего корабля» и другие. В начале тридцать шестого, точно помню, ходили на «Космический рейс», который показался мне снятым отменно, даже при том, что американские фильмы на голову превосходили советские по уровню спецэффектов и драматизма.

Работники посольства располагали и деньгами, и возможностью посещать рестораны, чем я активно пользовался в дни знакомства с Леной. Самое странное, что у меня не было цели уложить её в постель, как обычно происходило с женщинами на моей родине. Лена казалась чем-то эфемерным, просто подругой, приятным собеседником. Мне с ней было легко.

Андрей... Андрей по-прежнему всегда находился рядом. Когда я проводил время с Леной, он старался быть незаметным, но я хорошо знал все его приёмы и умел пристально посмотреть на него, например, через витрину магазина. Он скрывался в тени, но понимал, что я его вижу.

Лена жила с мамой и братом, на десять лет младше нее. Он работал на заводе и был на хорошем счету, благодаря чему получал премии, дополнительные карточки и возможность доставать дефицитные товары. У меня же была возможность достать всё – даже то, чего официально просто не существовало. Сначала Лена отказывалась от подарков, но затем начала их принимать. Мама относилась к этому нормально: дарёному коню в зубы не смотрят. А вот брат начал по-настоящему ревновать и пытаться выяснить, с какой это шишкой встречается его сестра. Впрочем, я никогда не видел никого из Лениных родственников, все сведения – лишь по её рассказам.

Потом я пригласил её в гости – в октябре тридцать пятого. Андрей куда-то ушёл (хотя я полагаю, что он был рядом, вплоть до того, что стоял в подъезде). Мы пили чай с печеньем, которое мне присылали из Америки, и Лена рассказывала о дореволюционной России. В её словах не было восхищения или сожаления, лишь сухая констатация. Она привыкла к новой жизни, к нищете, к серому бесформенному пальто. Она научилась радоваться простым вещам, которые раньше казались настолько привычными, что оставались незамеченными. Например, солнечному свету, вкусной колбасе или обычной человеческой вежливости.

Кстати, чудовищная грубость межчеловеческих отношений в Москве меня первое время сильно сбивала с толку. Я не понимал, как можно не извиниться, толкнув человека, или как продавщица может бросить подсохший батон на прилавок так, что тот упадёт на грязный пол, да ещё наорать на покупателя за неловкость (и ведь другой батон не возьмёшь – карточки!). Чтобы не было вопросов, оговорюсь: карточки нам тоже выдавали. Посольство посольством, но часть снабжения лежала на городе, и некоторые продукты мы покупали в магазине, как обычные граждане.

В тот её визит между нами не было никакой близости. Мы просто пили чай, говорили о разном, а потом я проводил её до самого дома (она жила в районе Бутырской заставы в старом деревянном двухэтажном доме, туда шло довольно много трамвайных маршрутов; в квартире я никогда не был).

Вам, вероятно, интересно, начались ли у нас близкие отношения. Начались. Секс между американским гражданином и москвичкой был не просто запрещён – если бы подобное выплыло наружу, возник бы дипломатический скандал, а Лена исчезла бы в лубянских подвалах. Поэтому запрет был, что называется, «под страхом смерти». Для Лены. Для меня – под страхом немедленного выдворения из страны. Закрывая глаза на нас, Андрей совершал чудовищное должностное преступление. Более того, я гораздо позже понял, почему нас не засекли другие наблюдатели (конечно, Андрей не был единственным). Андрей каким-то образом объяснил, что Лена – его женщина, а не моя. И ходит она – к нему.

Он прикрывал нас, а мы встречались, и мы любили друг друга в моей квартире, и за нами велась слежка, но органы молчали, потому что сказать, вероятно, было нечего.

Мы продолжали иногда сидеть с Андреем на кухне. Он продолжал пить, я присоединялся к нему, и он снова говорил мне о том, что будет. Кого заберут, кого оставят, кого вышлют, кого расстреляют. Для него постоянное нахождение под дамокловым мечом было естественным как сама жизнь. Он держал наготове чемодан с тёплыми вещами, бритвой и сменой белья. Андрей

рассказывал, что в его собственной квартире в районе Таганки стоит точно такой же, с тем же набором.

А положение Буллита становилось всё более шатким. Он проводил много времени вне Москвы, несколько раз в первой половине 1936 года плавал в США, причём совершенно безо всякой причины. Он беседовал с Рузвельтом, настаивал на ужесточении отношений с Советским Союзом, утверждал, что дружба со Сталиным ни к чему хорошему не приведёт, и даже требовал отзыва посольства. Рузвельту позиция Буллита категорически не нравилась. Он отправлял его с посольской миссией в первую очередь для установления экономических отношений. А Буллит мало того что не сумел выбить из Сталина долги царской России, так ещё и натянул струну до предела. Мы понимали, что, того и гляди, посольство просто выдворят восвояси.

На этом фоне за нами стали следить ещё ревностнее. В подъезде регулярно появлялись странные типы, читавшие старые газеты, а по дороге к Спасо-Хаусу я мог встретить одного и того же прохожего до пяти раз. Однажды ко мне подошёл человек в штатском и попросил «идти прямо и никуда не сворачивать». Когда я рассказал об этом Андрею, он рассмеялся. «Если бы на твоём месте был я, меня бы уже не было в живых», – сказал он.

Дело шло к свёртыванию посольской миссии. Я начал думать, что делать с Леной. Потому что, честно говоря, я влюбился не на шутку. Так бывает: влюбляешься и не можешь объяснить причину. Эта женщина, кажущаяся другим серой мышкой, тебе представляется самой прекрасной, самой чудесной, и больше тебе никто не нужен. Ну да не мне вам объяснять. Я считал, что такая любовь бывает раз в жизни (у меня в юности, конечно, была). Но нет: на меня обрушилась вторая любовь, и я ничего не мог с этим поделать.

В принципе мои размышления были однотипными. Что она здесь забыла, что она здесь бросит? Ничего. Нищая страна, никаких перспектив, кроме серой ежедневной работы (в лучшем случае) или лагеря (в худшем). Она состарится и умрёт, ничего после себя не оставив, в том числе и детей. Кто, кроме меня?...

В последний раз мы встретились в квартире в июне тридцать шестого. Вечером мы сидели на кухне за чаем, и я тихо рассказывал ей о том, что придумал. Я хотел через Буллита подать прошение Рузвельту, чтобы тот разрешил привезти из СССР жену. То есть Лену. Дипломатического скандала в таком случае не возникло бы, и Лену, взятую посольством под защиту, не посмели бы тронуть.

Но реакция её была совсем не такой, какой я ожидал.

«Нет», – покачала она головой.

«Как нет?»

«Нет, Джед. Я не оставляю мать, не оставляю брата. Я не оставляю страну, в которой выросла».

И всё. Мы разговаривали почти всю ночь. Я убеждал, доказывал. На моей стороне были логика и здравый смысл. На её – забитость, привычка, упёртость. Слова Лены причиняли мне боль, и в то же время я был готов к сопротивлению. Просто не думал, что оно окажется столь исступлённым, столь алогичным, бессмысленным. Не стоило задавать ей глупые вопросы вроде «ты меня любишь?», потому что я знал, что любит. Но я не мог соотнести её любовь ко мне с отказом уехать. Перебраться из ада в рай.

Нет, что вы, я понимал все проблемы тогдашних Штатов. И понимал, что на рай они тоже не похожи. Но в сравнении с Москвой мой Вашингтон был как минимум чист, аккуратен и безопасен. В относительной мере.

Лена была знакома с Андреем – иногда мы беседовали втроём. Андрей был сух и галантен. Мне казалось даже, что он тоже чуть-чуть влюблён в неё; что на самом деле лежало у него на душе, не знал никто. Когда он вошёл в квартиру – утром, – Лена уже уходила. В ту нашу встречу мы не занимались любовью. Мы спорили, потом молчали, потом она плакала и

говорила, что никогда меня не забудет, а я обещал вернуться с новым посольством. Конечно, я не вернулся.

И больше она не появлялась в моей жизни. Мы не договорились о новой встрече, телефона у неё дома не было, а я так и не смог найти время поехать к ней. В последние недели посольства Буллита навалилось много работы. Переговоры следовали за переговорами, встречи за встречами: я переводил, переводил, переводил и даже, откровенно говоря, иногда забывал о Лене. Конечно, без её согласия никакого прошения Рузвельту я не подал.

В начале июля стало известно, что уже назначен новый посол – Джозеф Дэвис. Шестидесятилетний Дэвис был известен своей деятельностью на посту экономического советника президента США и личной дружбой с Рузвельтом. Эта дружба накладывала на Дэвиса одно обязательство – не иметь личного мнения. И Дэвис личного мнения не имел. В отличие от своенравного и порывистого Буллита, он принял как должное необходимость наладить отношения с СССР и рьяно приступил к осуществлению этой задачи с первых дней своего приезда в Москву.

Разумеется, он набрал новую команду. Никого из сотрудников Буллита он не хотел и видеть. Дэвис справедливо полагал, что они переняли у его предшественника никому не нужную способность мыслить самостоятельно. Впоследствии Дэвис возглавлял Национальный совет американо-советской дружбы и был награждён высшей советской наградой – орденом Ленина «за успешную деятельность, способствующую укреплению дружественных советско-американских отношений и содействовавшую росту взаимного понимания и доверия между народами обеих стран». Это было в его духе – любить то, что прикажут.

Буллита переводили во Францию, отношения с которой наладились давно. Он готов был взять с собой всю «советскую» команду, но кое-кто предпочёл перейти на бумажную работу на территории США. Я выбрал Париж. В конце концов, когда бы я ещё побывал в Европе?

За неделю до отъезда из Москвы состоялся наш главный разговор с Андреем – как всегда, на кухне, за бутылкой. И видит бог, это был единственный раз, когда я напился вдребезги.

Я не знал, как попросить о том, о чём я хотел попросить. Смешная вышла фраза, но формулировка – верная. Я смотрел на Андрея, и мои глаза, видимо, сказали ему всё.

«Она не хочет ехать с тобой», – произнёс он.

Я кивнул.

«Это нормально, Джек. Мы – советские люди. Мы любим свою Родину не меньше, чем вы свою. Какое бы дерьмо тут ни было, что бы тут ни творилось, да хоть бы траву жрать пришлось – это наша Родина. И мы её не оставим».

Он говорил это пьяным голосом, держась за стол, чтобы не завалиться набок.

«Андрей...» – начал я.

Он показал жестом: молчи. А потом добавил:

«Я отвечаю за неё, Джек. Я понял. С ней ничего не случится, я тебе обещаю».

И эти слова, которые сказал мне пьяный сотрудник ГБ (я так точно и не узнал, в какой организации числился Андрей), стали самой надёжной, самой нерушимой гарантией. Я поверил ему, потому что мне больше некому было верить в этой стране. Я не мог верить даже самой Лене – после того, как она отказалась уехать. Я действительно думал, что любовь не может быть такой – не способной сломать границы.

Параллельно я думал, что есть и второй вариант. Остаться. Попросить политического убежища, объяснить, что я – скрытый американский коммунист, навсегда променять свою страну на эту романтическую грязь. Но я не решился.

Это был наш последний доверительный разговор с Андреем. В следующие несколько дней меня поглотили сборы и переводческая работа, а потом к моему подъезду подъехал посольский «Форд», из грязного окна которого я в последний раз смотрел на Москву.

* * *

Я вернулся в США, затем работал с Буллитом в Париже. Во Францию посольство отправилось в октябре 1936 года и оставалось там вплоть до начала войны. Буллит развернулся в Париже по полной программе – он снял для посольства огромный замок в Шантильи, в его подвалах было порядка двадцати тысяч (!) бутылок французского вина; он стал заметной персоной в высшем обществе. Его отношения с Рузвельтом резко улучшились, перейдя в статус дружеских. Доходило до того, что Буллит звонил президенту просто так, справиться о его здоровье.

Правда, к сороковому году Буллит снова проявил свой буйный характер и поссорился с Рузвельтом по полной программе. Сначала он ослушался прямого приказа президента и отказался перевезти посольство в Бордо (к Парижу подступали немцы). Потом напрочь переругался с помощником государственного секретаря США Самнером Уэлсом и обвинил того в пропаганде гомосексуализма. Уэлса поддерживали многие влиятельные лица, в том числе вице-президент Генри Уоллес и госсекретарь Корделл Халл. В итоге Буллит был вынужден прекратить политическую карьеру, а вместе с ним и мы – его команда.

Я долгое время работал переводчиком при разных государственных деятелях, на переговорах и встречах с гостями из других стран. В 1955 году, в возрасте шестидесяти пяти лет, я ушёл в отставку.

А спустя ещё два года я получил письмо от Лены.

Оно шло несколько месяцев. На конверте были написаны моё имя и имя Уильяма Буллита, посла США в СССР. Буллит был заметной фигурой, и письмо нашло его безо всякого адреса, а он переслал конверт мне. Конечно, письмо многократно открывали – думаю, и в СССР, и у нас. Но это мне было не важно.

Сразу после нашего отъезда за ней пришли. Обращались хорошо, никаких вопросов не задавали, а через три дня выпустили. Она не знала почему.

В 1938 году её арестовали повторно – и дали двадцать лет за шпионаж в пользу Соединённых Штатов и порочащие связи с иностранцами. В 1955-м реабилитировали, восстановили в правах и выделили комнату в коммунальной квартире. Её брат погиб на войне, а мать умерла в сороковых, пока Лена была в лагере.

После реабилитации она не поленилась раскопать в архивах своё дело: ей открыли доступ. В деле нашлось объяснение тому, что в первый раз всё сошло ей с рук. Вступился сотрудник госбезопасности, некто Андрей Кульковский. Он дал указание отпустить её и провести дополнительное расследование. Но к тридцать восьмому его уже не было в живых. Она подняла и дело Кульковского (которого тоже реабилитировали – посмертно). Согласно официальным сведениям его расстреляли 18 января 1938 года по обвинению в шпионаже.

В письме не было почти ничего о нас, о любви, о возможности увидеться. Это было правильно – мы состарились, я разжирел, и ничего от меня двадцатилетней давности уже не осталось. Но всё-таки она написала под самый конец одну фразу, которая заставила меня задуматься.

«Знаешь, Джек, я ни о чём не жалею. Ни о том, что мы были вместе, ни о том, что за это я провела семнадцать лет в лагере. И самое главное, я не жалею о том, что не уехала с тобой. Потому что страна, которая раздавила меня, превратила в уродливую старуху, сломала мою жизнь, – это моя страна».

Для того чтобы быть вместе, кому-то из нас пришлось бы перечеркнуть прошлое, стереть всё начисто и нарисовать заново. Кто-то должен был пожертвовать всем. Мы не решились – ни я, ни она. И только теперь я понял одну страшную вещь. У неё действительно была причина отказаться. Потому что у неё была Родина, и она перевешивала всё – и любовь, и возможность

жить лучше. А у меня... Я уехал, потому что боялся изменить размеренный образ жизни. Будь в СССР лучше, я бы спокойно остался, и никакой патриотизм не заставил бы меня вернуться. Я почувствовал себя трусом.

Собственно, после этого письма я и понял, что они – сильнее нас.

Я не ответил на её письмо. Более того, я почему-то совсем о ней не думал, моё сердце не сжималось от воспоминаний. Но я думал о другом человеке – об Андрее Кульковском, моём друге. Он сдержал своё обещание и оберегал её, пока мог. Потом машина смяла и его – это было вопросом времени.

Теперь мне восемьдесят девять. Я не знаю, жива ли Лена. Андрей мёртв уже более сорока лет. Советские войска только что вошли в Афганистан, что, возможно, перерастёт в серьёзный международный конфликт с участием США. Последние тридцать лет – с тех пор, как получил письмо от Лены, – я пытаюсь заставить себя найти причину любить собственную страну. Я пытаюсь найти ситуацию, в которой я отдал бы за неё жизнь и свободу, – и не нахожу. И я завидую. Я безумно завидую людям, которые способны поставить понятие «родина» на первое место, а понятие «я» – на второе. Мне уже поздно переучиваться. Я смотрю на подрастающее поколение и понимаю, что оно – ещё хуже моего. Глупее, слабее, безвольнее, наглее. Интересно, какое поколение выросло в СССР? Неужели они и сегодня – такие же сильные, волевые? Я не знаю. И в какой-то мере моё незнание позволяет мне жить в спокойствии.

И в этом же спокойствии – умереть.

Последняя гонка Рэда Байрона

*В мире, где когда-то жил-был великан, мы навсегда останемся
пигмеями.*

Кейт Лаумер. Жил-был великан

Это история о Байроне. Не о Джордже Гордоне Байроне, английском поэте, а о Роберте Байроне по прозвищу Рэд, невысоком человечке, загорелом до черноты и хромящем на левую ногу.

Роберт Байрон умер одиннадцатого ноября 1960 года в недорогой гостинице в Чикаго, штат Иллинойс. Номер был двухкомнатным, и Байрон как раз шёл из одной комнаты в другую, к рабочему столу, когда у него прихватило сердце. Он добрался до кровати, лёг на спину и смотрел в темнеющий потолок, не в силах позвать на помощь. Но это было гораздо позже.

События, о которых я хочу вам рассказать, произошли поздней весной пятьдесят восьмого года близ городка Ганнисон, штат Колорадо, в стороне от федеральной трассы. В Ганнисоне и сегодня живёт от силы шесть тысяч человек, а в конце пятидесятых население едва ли достигало двух тысяч. Тем не менее уже тогда в городе располагался Уэстерн-стэйт-колледж, престижное учебное заведение, собиравшее абитуриентов со всего штата. Позднее в Ганнисоне появилась даже собственная радиостанция.

Рэд Байрон окончательно ушёл из гонок в 1952-м. Он уже год не садился за руль гоночного автомобиля к тому времени, но лишь в конце пятьдесят второго сказал: всё, больше никогда. И погрузился в руководство собственной командой. Я не знаю, каким он был руководителем, потому что меня это не интересовало. Я вообще не могу представить Байрона за столом, с карандашом в руках, заполняющим какие-нибудь ведомости.

Его последней гонкой в чемпионате Grand National стал пятисотмильный заезд в Дарлингтоне, штат Южная Каролина, третьего сентября пятьдесят первого года. Потом врач сказал ему: нельзя, Роберт. У тебя слабое сердце, Роберт, оно не выдержит.

Мне кажется, что его сердце не выдержало в первую очередь отказа от гонок. Тогда гонщики жили скоростью, а не зарабатывали ею деньги. Простите, я опять отвлекусь. Мне сложно рассказывать историю последовательно, потому что в памяти возникают всё новые и новые ассоциации, и каждая мне кажется важной, придающей рассказу полноту и цельность. Так вот, примерно в то же время, о котором я веду речь, в Европе жил гонщик по имени Вилли Мэйресс. Он был пилотом средней руки, но дважды выигрывал знаменитую гонку «Тарга Флорио» и регулярно выступал в заводской команде «Феррари». В шестьдесят восьмом году он, сорокалетний, попал в Ле-Мане в страшную аварию, навсегда лишившую его возможности вернуться в гонки. Второго сентября шестьдесят девятого он повесился в гостинице в провинциальном Остенде, оставив после себя записку. В ней говорилось, что он не может гоняться – значит, не может жить. Вот какие были люди.

Возвращаюсь к Рэду Байрону.

Я хочу рассказать вам кое-какие факты из его биографии – это поможет лучше понять его мотивацию, представить выражение его лица, жесты и движения. Я не художник и не могу нарисовать портрет. Мне даны лишь слова, чтобы описать моего героя.

Он впервые сел за руль гоночного автомобиля в 1932 году, в возрасте семнадцати лет. Когда Соединённые Штаты вступили во Вторую мировую войну, Рэд пошёл в армию и отработал пятьдесят семь миссий бортинженером и хвостовым стрелком на бомбардировщике В-24. Лётчик имел право демобилизоваться после двадцати пяти миссий над территорией врага – Байрон отлетал в два раза больше. А потом их самолёт сбили – в тот самый день, когда его жена узнала, что беременна мальчиком. И Роберт выжил – ради сына. Двадцать семь месяцев

военных госпиталей и собранная по кусочкам левая нога: врачи не знали, будет ли он вообще когда-либо ходить. Хромота осталась с Байроном на всю жизнь, и, несмотря на это, он стал одним из самых быстрых людей на планете. Он сам переделывал машины с ножного сцепления на ручное, потому что мог пользоваться только правой ногой. Для газа и тормоза – более чем достаточно.

Всё это было притчей. Теперь перейду к тому, ради чего я вообще затеял свою писанину.

Как я уже упоминал, шёл пятьдесят восьмой год. Был конец мая, тепло, солнечно – и пыльно. В Колорадо всегда пыльно, особенно на кусочно асфальтированных локальных дорогах. Я голосовал, стоя на обочине. Мне нужно было попасть в Национальный заповедник Колорадо неподалёку от городка Гранд-Джанкшен. Сначала я ехал из Санта-Фе по федеральному шоссе 85, но в районе Пуэбло решил, что лучше срезать. Если ехать по федеральным, выходило триста шестьдесят миль, а по местным дорогам – всего двести восемьдесят. Почему я так решил – сам не знаю. Средняя скорость движения по местным гораздо меньше, да и вероятность поймать машину до Салиды не так велика, как до Денвера. Ну да ладно – решил так решил.

Я поблагодарил человека, который добросил меня до Пуэбло, – он высадил меня на пересечении восьмидесятой и пятидесятой, то есть именно там, где нужно. Я прошёл по дороге около ста ярдов, держа левую руку поднятой. Я не очень надеялся, что меня подберут, и потому не оборачивался.

Машина затормозила ярдах в десяти впереди меня. Это был старый «Олдсмобиль 88» пятидесятого года, слегка отличающийся от базовой версии. Вероятно, над машиной потрудились умелый механик – выглядела она отлично. Я подошёл, открыл дверь и сел в автомобиль.

Водителю на вид было хорошо за пятьдесят. Он выглядел худым и жилистым, загорелое лицо покрывала сеть мелких морщинок, а глаза прятались за круглыми тёмными очками. Он улыбнулся мне – во все тридцать два зуба, сияющей голливудской улыбкой.

«Рэд», – представился он.

Я назвал своё имя, и он тронул автомобиль с места.

Он ехал осторожно, небыстро, размеренно. Мотор приятно урчал, машина плыла по дороге, точно по водной глади.

Мы разговаривали о всяких мелочах. Я вспоминал своего лабрадора, он улыбался и говорил, что у его сына – сеттер. Я рассказывал, как во время войны мой отец добровольцем пошёл в армию, хотя уже не подходил по возрасту. Рэд в ответ травил байки из своей армейской жизни. Тогда-то он мне и рассказал про бомбардировщик В-24, про пятьдесят семь успешных миссий и одну неудачную. «Да, хуже самолёта, чем наш „бэ“, просто быть не могло. Я однажды из хулиганства пырнул ножом его обшивку, и что ты думаешь? Пробил! Какая уж тут пуля, какая шрапнель!...»

Ногу ему повредило именно шрапнелью. Раскурочило борт самолёта, приборы и голень Байрона. В принципе, ему повезло. Помимо ноги, он отделался всего лишь несколькими переломами.

«Я вообще-то лётчиком хотел стать. Был здоров тогда как бык, знаешь. Но мне написали: опыта полётов – никакого, зато машины умеет разбирать отлично. И зачислили в бортмеханики. Заодно и стрелка иногда хвостового заменял. Знаешь, как холодно в „бэшк“? Без перчаток возьмёшься за рукоятку пулемёта и всю кожу оставишь там. Везде ж металл, никаких тебе удобств».

Я узнал от Байрона ещё две занимательные подробности его службы. Их экипаж патрулировал воздушное пространство в районе Аляски и Алеутских островов. Когда пятьдесят восьмая миссия подходила к концу, оказалось, что одна бомба застряла в бомболюке. Все ушли, а эта – осталась. Именно тогда они попали под зенитный огонь японцев. И шрапнель в ногу Бай-

рона – это шрапнель разорвавшейся внутри самолёта их собственной, американской бомбы. Самый большой осколок остался в ноге Рэда навсегда – его не смогли извлечь, а от ампутации Рэд отказался категорически.

В «Олдсмобиле» Рэда было ручное сцепление. Он рассказал, что раньше ездил и на ножном, привязывая повреждённую ногу к педали кожаным ремнём, чтобы не соскальзывала. Но позже перешёл на ручное.

В рассказе я называю его то Рэдом, то Байроном. Но тогда я не знал, с кем еду. Более того, я не слишком интересовался гонками, и сочетание «Рэд Байрон» мне ни о чём не говорило. В любом случае тогда я знал только прозвище Рэд.

Про гонки он не говорил ни слова. Ни о своих спортивных достижениях, ни о своей работе в качестве руководителя команды. Всё, что я знаю о Байроне как о гонщике, я почерпнул из воспоминаний, книг, справочников. Сегодня любую информацию найти легко: включил компьютер, вошёл в Интернет – и готово. В те годы мы проводили чудовищное количество времени в библиотеках, роаясь в старых подшивках и развалах некаталогизированных изданий.

Мы остановились в Салиде, чтобы перекусить в KFC. Тогда эта сеть была совсем молодой и казалась престижной. Ресторан в Салиде только-только открылся, столики сверкали металлическим блеском, официантки приветливо улыбались, а в курятине не было того количества химической дряни, какое обязательно есть в ней сейчас. Самое смешное, что тот ресторан на бульваре Рэйнбоу, где мы останавливались, существует и по сей день. Я побывал там несколько лет назад – почти ничего не изменилось. Разве что курятина испортилась.

Рэд ел медленно и аккуратно – так же как водил свой «Олдсмобиль». За едой он снял тёмные очки и положил их на стол. У него были блеклые, бесцветные и одновременно очень добрые глаза. Не знаю, как ещё охарактеризовать их, не могу придумать ничего лучше.

Ел он молча, только иногда поглядывал на меня, чуть прищуривая правый глаз. Мне показалось, что у него плохое зрение, хотя очки, кажется, выполняли только солнцезащитную функцию, то есть не имели диоптрий.

Потом мы отправились дальше. За рулём он снова стал разговорчивым и весёлым. Я рассказывал ему студенческие анекдоты, а он смеялся как ребёнок и продолжал травить военные байки. Вспоминая сегодня, я понимаю, что среди них не оказалось ни одной похабной. Все они были о смелости, о самоотверженных людях, сражавшихся на чужой территории за свою страну, о безымянных героях. Хотя нет, не безымянных. Рэд помнил всех сослуживцев, называл их по именам и фамилиям, иногда рассказывал, как сложилась их жизнь после войны.

О некоторых он говорил: «А он погиб». И после этого какое-то время молчал.

А потом он внезапно произнёс: «Гвин».

Я переспросил его: «Простите, Рэд, не расслышал. Что вы сказали?»

Он повернулся ко мне. Я думаю, если бы он снял очки, я бы увидел слёзы на его глазах.

«У меня был друг, – сказал Рэд. – Его звали Гвин Стэйли. Он был младше меня на двенадцать чёртовых лет. И он уже никогда не станет старше меня».

Я не стал говорить глупостей вроде «я сожалею». В таких случаях лучше просто промолчать.

«Он погиб в Ричмонде в марте. Я надеюсь, что это последний сезон чёртовых открытых машин».

«Каких машин?»

«Кабриолеты НАСКАР», – пояснил Рэд.

Как я уже упоминал, гонки для меня были пустым звуком в те времена. Поэтому я снова предпочёл промолчать. Больше он о гонках не говорил. В принципе, я не связал этот краткий диалог с профессией Рэда. Догадаться, что он в прошлом гонщик, по его стилю вождения было невозможно. Такой стиль может оказаться свойственным пожилому отцу большого семейства, едущему с домашними на воскресный пикник.

А уже через полчаса мы добрались до Ганнисона. Мы не останавливались в самом городе, а проехали насквозь. Мы успели удалиться от города примерно на три мили, когда Рэд внезапно сказал: «Надо остановиться. Ей-богу, хочу пива».

Наверное, он почувствовал мой укоризненный взгляд, потому что тут же стал объясняться: «Мне вообще-то нельзя. Да и за рулём. Но одна маленькая бутылочка ничего не изменит. И это даже не нарушение, всё в пределах нормы».

И Рэд свернул к придорожной заправке.

Как ни странно, она оказалась полна. Пока мы ожидали заказа, я не поленился подсчитать присутствующих – вышло тридцать восемь человек! Все они казались похожими друг на друга: клетчатые рубашки, джинсы, широкополые шляпы. Среди них были люди постарше и помоложе, были работяги с въевшейся в морщины грязью и пижонски одетые молодые парни с белозубыми улыбками. Я заметил и нескольких девушек, довольно безликих. Они сидели у мужчин на коленях, пили пиво и заливисто хохотали.

«Что тут происходит?» – спросил я у официантки, дородной дамы лет сорока пяти.

«Митчелл, как всегда, куролесит», – непонятно ответила она и ушла.

Я помню, что про Черчилля мне рассказывали следующую историю. Однажды, на заре политической карьеры, Черчилль объезжал небольшие города на юге Великобритании с какими-то лекциями. Шофёр завёз его в глухомань, подобную Ганнисону, только английскую. Они увидели крестьянина, и Черчилль, высунувшись из окна, спросил: «Скажите, пожалуйста, где мы находимся?» – «В автомобиле!» – буркнул крестьянин. «Вот ответ настоящего англичанина, – сказал Черчилль шофёру, – краткий, хамский и не содержащий никакой информации, которой спрашивающий не знал бы сам».

Примерно такого же рода был и ответ официантки. Фамилия Митчелл мне ничего не говорила.

Я отлучился в уборную. Она находилась на заднем дворе – так мне сказал бармен. Но вместо уборной я увидел толпу народа. Тут собралось намного больше людей, чем внутри заведения. Двором это пространство назвать было сложно. Просто задняя стенка закусочной выходила на огромную площадку, окружённую редкими деревьями (я не разбираюсь в породах, что-то южное). А на площадке стояли автомобили.

Надо сказать, что автомобили я любил. Я и теперь отношусь к ним с нежностью. Не к этим современным «Тойотам» и «Хондам», неотличимым одна от другой, а к настоящим машинам. Например, к «Форду Гран-Торино» семьдесят третьего года или чему-то подобному. Я вспомнил «Гран-Торино» в связи с недавно вышедшим фильмом Клинта Иствуда. Мы одногодки с этим великим актёром и, наверное, с его героем, невероятно близким мне по духу. Ну вот, теперь вы можете без труда посчитать, что мне около восьмидесяти лет.

Я опять отвлёкся.

Итак, на заднем дворе были машины – красивые, мощные, эффектные. Вот «Форды»: белый «Тандебёрд» пятьдесят седьмого года, потёртый «Крестлайн» пятьдесят четвёртого, новенький «Кастом», трёхлетка «Фэрлейн». А вот старый «Кадиллак Сиксти-Спешл» конца сороковых, и «Понтиак Стар-Чиф», и огромный «Крайслер Ньюпорт» второго поколения, и красавица «ДеСото Файердом» пятьдесят пятого года... У меня разбежались глаза.

И тут я понял, что происходило. Это были любительские гонки. Заезды, которые впоследствии переросли в современный стритрейсинг.

В те годы многие гонки сток-каров, то есть серийных машин, чуть подработанных для скоростных трасс, считались полупрофессиональным делом. Профессиональных гонщиков, зарабатывавших себе на хлеб скоростью, было гораздо меньше, чем фанатов, которые покупали подержанный «Крайслер» и заявлялись на какую-либо гонку. Конечно, на трассах тогда блистали звёзды – Ли Петти, Бак Бейкер, Тим Флок, но наполнение одного заезда машинами происходило за счёт многочисленных любителей.

Частенько любители проводили собственные гонки. Выделяли участок дороги, чаще всего кольцообразный и неасфальтированный, и соревновались на нём парами или четвёрками. Именно такие гонки проходили близ Ганнисона, штат Колорадо.

Когда я вернулся, Рэд уже пил пиво, закусывая его сушёной рыбой.

«Ну что там?» – спросил он, будто я ходил не в туалет, а именно за информацией.

«Любительские гонки».

Рэд кивнул с таким видом, будто всё понял с первого взгляда, просто мне не сказал. Скорее всего, так оно и было.

Некоторое время мы сидели молча. Рэд прихлёбывал пиво из бутылки, я пил кока-колу из высокого стакана. Мне не хотелось хмельного.

Через какое-то время я выделил в толпе парня, который служил объектом всеобщего внимания и поклонения. Он сидел на невысоком мягком диванчике и обнимал двух девушек. Правая иногда подносила к его рту стакан с коктейлем, а левая тёрлась губами о его щёку и что-то шептала на ухо. Девушек парень воспринимал как нечто само собой разумеющееся. Он умудрялся одновременно болтать со всеми окружающими. Одному он улыбался, на другого с улыбкой показывал пальцем, третьему что-то рассказывал. Душа компании, не иначе.

Что-то в его облике мне сразу не понравилось. Такие люди панически боятся упасть с трона, на который себя возвели. Они пойдут на всё, чтобы не проиграть, не показать свою слабость. Такие люди могут быть жестоки, пока судьба не научит их снисхождению. Судьба пришла к этому парню в образе Рэда Байрона.

Раздался резкий звук трещотки.

«Митчелл! – послышался крик. – Финал!»

И парень лениво поднялся с дивана. Это и был Митчелл.

«Хочешь посмотреть?» – спросил Рэд.

«Наверное, – ответил я. – Раз уж мы тут сидим».

«Пошли».

И мы отправились за толпой, которая толкалась у дверей, пытаясь выбраться наружу.

На площадке царил беспорядок. Мы с Рэдом сначала не могли понять, куда идти, но затем он показал пальцем:

«Вон таблица результатов, пошли».

Таблица оказалась огромной школьной доской, на которой мелом записывались фамилии и результаты.

«Три заезда, – пояснил Рэд, – это одна гонка. В каждой гонке есть победитель и проигравший. Выиграл два заезда – выиграл гонку. Третий – это если первые два закончились победой разных пилотов. Заезды – по двое. Судя по всему, у них тут система „четвертьфинал – полуфинал – финал“».

Я спросил у Рэда, откуда он всё это знает.

«Когда-то тоже так гонялся».

И всё, больше он ничего не сказал. Казалось, что ему эта тема неприятна.

Рядом со мной толкалось двое мужчин вполне приличного вида – лет по тридцать пять, в костюмах. Они странно выглядели в толпе молодёжи и работяг. Я спросил у одного из них:

«А что тут происходит?»

«Гонки», – услышал я в ответ. Это снова напомнило мне историю о Черчилле.

Второй оказался любезнее:

«Митчелл против Харперсона в финале. Митчелл выиграл двенадцать последних соревнований. Говорят, собирается участвовать в профессиональных гонках».

«Спасибо».

Но он продолжил:

«Вы не смотрите, что мой приятель такой хмурый. Он хочет сорвать банк и поставил на Харперсона».

Приятель к этому моменту уже пробивался к трассе. Мы последовали за ним.

Трасса представляла собой неасфальтированную дорогу из плотно утрамбованного песка с мелкими камешками. Её конфигурация оказалась довольно затейлива. Сначала она спускалась, там было что-то вроде короткой прямой, затем делала несколько хитрых поворотов, затем снова поднималась к нам. Верхняя прямая длиной порядка шестисот футов проходила вдоль импровизированной трибуны, составленной из деревянных козел и скамеек. Общая длина трассы составляла около трёх тысяч футов, то есть менее мили. Линия старта-финиша располагалась ближе к окончанию длинной прямой.

Мы с Рэдом забрались на одни из козел. Трасса была видна вся – от первого до последнего поворота. Мы смотрели на неё сверху вниз.

Машина Харперсона уже стояла на старте. Это была «Шевроле Бель-Эйр Хардтоп» в спортивной конфигурации пятьдесят седьмого года, скорее женская машина, чем мужская, очень красивая, но чудовищно пыльная и, кажется, слегка помятая – Харперсону непросто дались предыдущие заезды. Я подумал, что если у него установлен двигатель V8 на двести восемьдесят три кубических дюйма, то у соперника нет шансов, даже если он сам Митчелл. Харперсон, одетый в лёгкий комбинезон, стоял у машины и, бурно жестикулируя, что-то говорил невысокому человеку в чёрной кожаной куртке.

А потом я увидел машину Митчелла.

Митчелл рассекал толпу как нож масло. Люди расходились, раздавались приветственные крики и вздохи восхищения.

У Митчелла тоже был «Шевроле», но – «Шевроле Корветт». Лёгкая спортивная машина, модель пятьдесят восьмого года. Даже штатная «восьмёрка» порвала бы любой «Бель-Эйр» на тряпки, что уж говорить о форсированном двигателе автомобиля Митчелла. Я не сомневался, что двигатель «Корветта» тщательно обработан руками механиков.

«Красиво», – сказал Рэд, попивая пиво.

«Нечестно», – ответил я.

«Честно. Этот второй знал, на что идёт. Не хотел бы – не выставлялся бы».

«Но „Корветт“ сделает его на первой же сотне ярдов».

«Если второй умеет водить, он даст бой. „Корветт“ лёгкий. На пересечёнке, да ещё с гравием, его сложнее держать на поворотах. Он будет уходить на прямой, а вот оттормаживаться ему придётся раньше».

Оба гонщика уже садились в машины.

В профессиональных автогонках шлем уже тогда был обязательным требованием. Правда, большинство гонщиков уходило от этого правила, надевая кожаные шлемы или даже велосипедные, лишь бы не носить предмет, делающий из них трусов. В Европе всегда больше заботились о безопасности, чем в Америке, и потому Америка лучше хранила – да и теперь хранит – автогоночные традиции прошлого.

Ни Митчелл, ни Харперсон шлемов не надели.

«Корветт» был открытым, но сейчас стоял с поднятой крышей. К машине подошла светловолосая девушка. Митчелл опустил окно и поцеловал её. Она была не из тех, кто сидел с ним на диванчике в баре.

Все разошлись. На трассе остались две машины, два «Шевроле» – «Бель-Эйр» против «Корветта». Исход был ясен, но поболеть хотелось. Я немного жалел мужчину, который поставил на Харперсона.

Парень с красными флагами встал между машинами и поднял руки. Все замолкли и напряглись в ожидании. Раздался резкий свисток. Парень опустил руки – и по отмашке машины пронеслись мимо него.

«Корветт» выиграл старт, чего и следовало ожидать. Митчелл рванул как бешеный, и тяжёлый «Бель-Эйр» не мог составить ему конкуренцию. К концу прямой Митчелл был впереди на два корпуса.

У «Бель-Эйра» появлялось небольшое преимущество на поворотах, но у Харперсона не получалось его использовать. Вырвавшись вперёд, «Корветт» уже не подпускал соперника на расстояние атаки. Харперсон чуть приблизился на спуске, затем довольно сильно отстал на прямой, идущей по дну карьера. На подъёме лёгкий «Корветт» оторвался ещё на несколько корпусов, а линию старта пересёк секунд на пять раньше «Бель-Эйра». Исход гонки был предсказуем, хотя соперникам предстояло проехать ещё девять кругов. В принципе у Харперсона оставалась надежда на то, что Митчелл совершит какую-либо ошибку.

«Не совершит», – вдруг произнёс Рэд.

«Я сказал что-то вслух?»

«Про ошибку».

Я и сам не заметил, как мои мысли облеклись в слова.

Второй круг прошёл аналогично первому, затем миновал и третий. Публика скандировала: «Митчелл! Митчелл!» – хотя первоначального энтузиазма не было: слишком просто давалась красавчику победа.

Но на шестом круге Митчелл ошибся. Он отыгрывал у Харперсона уже полкруга. Тот только-только пересёк линию старта, а «Корветт» был уже внизу и мчался по короткой прямой. Вдруг на одном из поворотов, ведущих в гору, Митчелла повело и закрутило. Он потерял машину из-за собственной ошибки, ничего более. Я болел за Харперсона, потому что наглый и самодовольный Митчелл мне не понравился с первого взгляда.

Он не перевернулся, но завяз задними колёсами в грязи. Для заднеприводной машины это смерти подобно. Через двадцать секунд Харперсон миновал застрявший «Корветт» и начал отрываться.

Как ни странно, Митчеллу удалось освободиться. Мне сложно сказать, как это произошло: слишком далеко мы находились, а моё зрение и тогда не было орлиным.

«Догонит», – резюмировал Рэд.

Пиво в его бутылке давно закончилось, и он достал пачку «Кэмела». Странно, но за всю предыдущую дорогу Рэд не закурил ни разу. Он протянул мне сигареты, я покачал головой.

«Врачи запрещают, но не могу отказаться», – будто оправдываясь, сказал он.

Митчелл догонял. Как я понял, первую половину гонки он ехал не выкладываясь. И слишком расслабился. Теперь он мчался почти на пределе возможностей. На седьмом круге он отыграл секунд пять из полученного Харперсоном двадцатисекундного преимущества. На восьмом – ещё около того. На последний, десятый круг они вышли с разницей в два корпуса.

Харперсон теперь тоже нёсся как бешеный, и на пути вниз «Корветт» не выиграл ни фута, да и на повороте «Бель-Эйр» сохранил преимущество. А вот на прямой Митчелл мощным рывком дотянулся до Харперсона, почти коснулся.

Я тогда подумал об идеальной стратегии в такой ситуации. Митчеллу достаточно было удержаться на предельно близком расстоянии от Харперсона на всём пути вверх, а затем легко пройти его на финишной прямой за счёт мощности машины, «на классе». Эта мысль сформировалась у меня за считанные секунды, потому что до конца гонки оставалось совсем немного.

Но Митчелл поступил иначе. На первом же повороте он аккуратно поддел задний бампер «Бель-Эйра», и Харперсона повело в сторону. Митчелл промчался мимо.

«Разве так можно?» – спросил я.

«Некрасиво, но в пределах правил. Скажем так, не по-мужски».

Но пока Митчелл рвался к очередной победе в финале, Харперсон отнюдь не стоял на обочине. Его «Бель-Эйр» кувыркался по песку. Я отвлёкся и пропустил начало аварии, но окончание видел – последние три поворота через жёсткую крышу «Шевроле». Измятая, изуро-

дованная машина застыла в неподвижности у дальнего края карьера. А Митчелл уже завершил серию виражей и мчался по прямой.

Я не сразу заметил, что Рэда рядом нет. Вот он стоял и курил, и вот он уже несётся наперерез, через трассу вниз, в карьер, к месту аварии. Он успел пересечь прямик до того, как по нему пролетел «Корветт». Я побежал за ним, за мной последовали ещё несколько зрителей.

Гораздо позже я понял, почему Рэд сорвался с места. Почему он бежал с такой скоростью, хромая, волоча неработающую левую ногу, размахивая руками. Почему бросился в машину вытаскивать незнакомого человека. Почему не испугался капающего бензина, который мог воспламениться от случайной искры.

В те времена автомобиль скорой помощи на трассе чаще всего отсутствовал. И уж тем более – спасатели и пожарные. Пока врач добирался до пострадавшего с другого конца трассы – на случайной машине или пешком, – гонщик мог десять раз умереть.

Я снова отвлекусь, простите меня. В 1973 году на Гран-при Голландии в классе автомобилей «Формула-1» произошла трагедия. Молодой гонщик Роджер Уильямсон попал в страшную аварию. Его «Марч» перевернулся и загорелся. Пилот, проводивший всего вторую гонку в своей карьере, находился в сознании и пытался выбраться, но не мог, потому что его придавило машиной, которая весила тонну. За Уильямсоном ехал гонщик команды ЛЕС Дэвид Пэрли, он увидел аварию – и остановился. Какое значение может иметь место на финише, когда от твоих действий зависит жизнь человека?

Пэрли получил ожоги рук третьей степени, пытаясь перевернуть горящий «Марч». Первый пожарный подоспел ему на помощь примерно через минуту.

Уильямсон умер. Сгорел заживо в собственном автомобиле, в этом четырёхколёсном гробу. Он потерял сознание, наглотавшись дыма, чуть раньше, чем кожу на его лице начал пожирать огонь. И всё это время Пэрли в одиночку пытался перевернуть машину и вытащить Уильямсона.

А потом он сел на обочину рядом с горящим болидом, закрыл лицо обгоревшими до мяса руками и заплакал.

За храбрость его наградили медалью Георга. Чёрт, он бы променял все медали мира на жизнь друга, которую не смог спасти.

Я думаю, после этой истории нет смысла объяснять, почему Рэд Байрон первым побежал к перевёрнутому «Бель-Эйру» Харперсона. Он, Байрон, видел множество аварий. Он видел, как его друзья заживо поджариваются в перевёрнутых машинах, потому что их не успевают спасти. И он снова садился за руль, зная, что может в любой момент оказаться на их месте. А теперь он бежал, хромая, к машине. В то время как «Корветт» Митчелла победно пересекал линию старта-финиша, и девушки визжали от восторга, и толпа ревела, Рэд Байрон пытался вытащить Харперсона из машины, и на его морщинистое лицо капал бензин из пробитого бака.

Они вытащили его вдвоём – Рэд и какой-то зритель, который добежал вторым. Я поспел третьим, и в этот момент машина загорелась.

Если вы думаете, что автомобили взрываются с грохотом и брызгами огня, вы ошибаетесь. Это картинка, к которой нас приучил Голливуд. На самом деле взорвать бензобак довольно сложно. Думаю, для этого нужно бросить в машину гранату. Если просто поджечь бензин, он тихо пыхнет, вся машина загорится, но эффектного взрыва не будет.

Именно это и страшно. Проще умереть от ударной волны, чем медленно сгорать в оплавляющемся пластике салона.

Харперсон был без сознания, но жив.

«Звоните в скорую!» – закричал Рэд.

Около машины уже собралось десятка два человек, но никакой помощи Харперсону мы оказать не могли.

«Его нельзя двигать!» – снова заорал Рэд, потому что какой-то сметливый малый хотел тащить пострадавшего наверх.

Рэд так и сидел около Харперсона всё время, пока не приехала скорая.

Митчелл победил. Судья на финише взмахнул клетчатым флагом и прокричал фамилию триумфатора. После победы тот некоторое время улыбался, обнимал женщин, пожимал руки, а затем отправился к импровизированному подиуму. На соревнованиях не было системы «первое – второе – третье место», все сливки собирал победитель. Толпа потекла за Митчеллом, и девушка в купальнике вручила ему кубок. Всего этого я сам не видел, но думаю, что не ошибся ни в едином слове. Впоследствии я смотрел много подобных состязаний, и все они заканчивались примерно одинаково.

Пока непобедимого Митчелла на руках вносили в закусочную, мы с Рэдом сидели около Харперсона. Тот лежал на спине и тяжело дышал. Конечно, мы не могли определить, что с ним, но Рэд серьёзно опасался, что повреждён позвоночник.

Когда прибыла скорая, она не могла съехать по песчаной трассе вниз: водитель боялся, что высокий фургон перевернётся. Санитары спустились с носилками, аккуратно переложили на них Харперсона и отнесли в машину. Больше мы его не видели.

Что с ним, я узнал лишь через несколько дней, позвонив из Гранд-Джанкшена в больницу штата, куда оттранспортировали Харперсона. Позвоночник действительно оказался повреждён – смещение, сдавливание нерва. Но операцию провели вовремя, и парень был спасён. Я считаю, что это целиком и полностью заслуга Рэда, а не врачей. Те качественно сделали механическую работу, а Рэд принял два правильных и своевременных решения в экстремальной ситуации. Во-первых, он вытащил гонщика из грозившей загореться машины, а во-вторых, не позволил его трогать и передвигать.

После того как скорая отъехала, мы поднялись наверх. То есть не мы с Рэдом, а все пятнадцать-двадцать человек, которые спустились к месту аварии.

В забегаловке царила атмосфера праздника. Триумфатор пил шампанское из горла, лапал одну из девчонок за грудь и кричал: «Ну что, съели? Никто не победит Ника Митчелла!» Ему аплодировали и пели хвалебные песни. Я сидел за столиком в углу и слушал разговоры окружающих.

«Ему нужно в сток-кары, точно, он там всех порвёт!» – говорил один. «Петти нашему Митчу в подмётки не годится!» – вторил ему другой. «Как он его на последнем круге, а?» – спрашивал кто-то.

А мне было противно. Только что чуть не погиб человек, причём из-за подлого приёма Митчелла, а им всем хоть бы хны. Но я понимал, что со своим уставом в чужой монастырь не ходят.

В какой-то момент Митчелл окончательно почувствовал себя богом. Он залез на стол, в правой руке – бутылка, в левой – победный кубок, и закричал.

«Меня зовут Ник Митчелл, и я не-по-бе-дим! – он так и разделил это слово по слогам, каждый из которых звучал как отдельный выкрик. – Есть кто-нибудь, кто хочет побить чемпионку? Что, слабо всем?»

«Никого, Митч!» – кричали ему в ответ.

И в этот момент из-за столика поднялся Рэд Байрон. Он медленно, раздвигая столпившихся фанатов, прошёл к столику Митчелла, поднял на него взгляд и спокойно сказал: «Я хочу».

Вы не поверите, но он и в самом деле сказал это тихо, очень тихо. Даже не своим обычным голосом, а почти шёпотом. Но его услышали. Возможно, не сам Митчелл, а кто-то по соседству, и слова Рэда тут же потекли по рядам зрителей и дошли до молодого наглеца. Митчелл опустил взгляд и увидел соперника.

Я хорошо запомнил эту сцену. Наверху – юный широкоплечий парень в шитой золотыми нитями куртке, в узких джинсах, в футболке с надписью «Митчелл» на груди, со сверкающим кубком в правой руке, с бутылкой – в левой. Его чёрные глаза блестят, волосы лоснятся от пота и остатков утреннего лосьона.

Внизу – Рэд. Маленький, в потёртых рабочих штанах и невзрачной серой курточке, с обветренным лицом, хромой. Он смотрит на Митчелла снизу вверх, и в глазах его такая сталь, что страшно в них заглядывать.

«Ты? – расхохотался Митчелл. – Ты, старик? Ты смеёшься?»

Рэд ничего не ответил. Он продолжал стоять и смотреть на парня.

Митчелл спрыгнул со стола. Он был на голову выше Рэда.

«А что ты поставишь, старик? Финал уже закончился, за кубок мы не сражаемся, надо что-то ставить...»

«Машину», – сказал Рэд.

«Машину? Да что у тебя за машина?»

«Хорошая машина».

Митчелл снова рассмеялся. Издевательски, зло. Даже в другом конце забега я чувствовал его презрение к маленькому человечку, который посмел бросить ему, Митчеллу, вызов.

«Боишься поставить свою?» – спокойно спросил Рэд.

Это уже был не вызов, а что-то большее. Это было оскорбление.

«Пошли!» – громко сказал Митчелл. Он сказал это так, что все поняли – он готов поставить машину, и он сдержит своё слово, если проиграет. Не могу объяснить, почему возникло такое ощущение, но оно возникло. Я поверил Митчеллу – хотя он, по сути, ничего не ответил Рэду.

Всё повторилось. Мы уже видели то же самое полтора часа назад, когда Митчелл выходил, чтобы победить Харперсона. Митчелл выбрался наружу в окружении фанатов и девушек, он по-прежнему нёс бутылку и, казалось, совершенно забыл о Рэде.

Рэд вышел через переднюю дверь, потому что «Олдсмобиль» стоял перед заведением. Я бросился было за ним, но затем передумал и вышел во внутренний двор. Митчелл направлялся к «Корветту», стоявшему футях в шестидесяти от входа. Он открыл дверь и обернулся:

«Ну и где этот дед?»

«Сейчас подъедет, его машина перед входом», – ответил кто-то.

В этот момент появился автомобиль Рэда. Он выехал из-за здания и остановился около «Корветта». На лице Митчелла появилась гримаса, которую я не могу описать несколькими словами. Собственно, я вообще не могу её описать. В ней сплелись разочарование, презрение, ирония и издёвка, а также чувство собственного превосходства и ещё с десяток эмоций, которые я идентифицировать не сумел. Я вообще никогда не наблюдал на человеческом лице такой гаммы чувств. Мне подумалось, что Митчелл стал бы неплохим актёром, направь он свою энергию в другое русло.

Рэд остановился футях в тридцати от Митчелла, вышел и громко спросил:

«Где можно заправиться? У меня полупустой бак».

«Езжай с пустым, дед, – сказал Митчелл. – Может, как раз разгонишься и пару кругов успеешь пройти, пока я трассу закончу».

Толпа заржала.

«Мне нужно заправиться», – твёрдо произнёс Рэд.

Мужчина лет сорока в рабочем комбинезоне подтащил огромную металлическую канистру. Пока они с Рэдом переливали её содержимое в бензобак «Олдсмобилia», Митчелл отпускал язвительные шуточки, а толпа смеялась.

И вдруг Рэд повернулся ко мне:

«Поедешь со мной?»

Я удивился. Мало того что Рэд заправил машину, утяжелив её на лишние несколько фунтов, так ещё и второго пассажира хочет, а во мне добрых фунтов сто восемьдесят.

«Зачем?»

«Будешь свидетелем. Садись».

Митчелл смотрел на Рэда с интересом:

«Ты издеваешься, дед?»

«Да», – ответил Рэд и сел в машину.

Мы сразу направились на стартовую прямую. В зеркало я видел, как Митчелл садится в свой «Корветт» и следует за нами.

Машины стояли рядом – новенький спортивный «Шевроле Корветт» против потёртого «Олдсмобилей 88». Никаких шансов, думал я. Конечно, старый «Олдсмобиль» был абсолютно не нужен Митчеллу. После победы он великодушно оставил бы свой выигрыш Рэду, продемонстрировав мировой характер и вызвав ещё больший восторг публики.

Парень с красными флагами появился на трассе. Он встал между машинами и поднял руки. Я видел лицо Митчелла за заляпанным грязью стеклом: он улыбался. Глядел прямо перед собой и упивался своей силой. В этот момент красные флаги опустились.

Мы рванули вперёд, и «Корветт» тут же стал уходить в отрыв. Один корпус, второй... Началась первая связка поворотов, ведущих вниз. Неожиданно «восемьдесят восьмой» поравнялся с «Корветтом», а затем оказался впереди. Я смотрел на Рэда. Он вёл машину спокойно, сидел прямо, только иногда шурился, когда совершал какой-то сложный манёвр с заносом.

К началу нижней прямой «Олдсмобиль» оказался на полтора корпуса впереди «Корветта». Но на прямой у Байрона не было шансов – «Корветт» мощным рывком нагнал и стал обходить «восемьдесят восьмой». Правда, к этому моменту снова начались связки поворотов.

Именно тогда я осознал, зачем Рэд заправил автомобиль, зачем попросил меня сесть с ним в салон. Он хотел уязвить самолюбие Митчелла как можно больше.

Сейчас я понимаю, что у Митчелла не было против Рэда Байрона ни единого шанса. Тот сделал бы наглеца, даже если бы сидел за рулём «Жестянки Лиззи» выпуска девятьсот двенадцатого года. Байрон был не водителем, а частью машины. Он тормозил не просто поздно, а чудовищно поздно. Я бы десять раз от тормозился и повернул, когда Рэд ещё только сбрасывал ногу с педали газа. Он постоянно шёл в заносе, иногда задним мостом, иногда всеми четырьмя колёсами, и этот страшный дрифт не требовал от него никаких усилий. Рэд просто делал своё дело. Так рабочий на конвейере прикручивает гайку за гайкой, как Байрон вёл старый «Олдсмобиль».

Самым тяжёлым участком трассы для Рэда была верхняя, стартовая прямая. Длинная и ровная, она предоставляла «Корветту» максимальный шанс. Первый круг Митчелл закончил впереди на корпус – благодаря мощности спортивной машины.

Пошёл второй круг. Митчелл разозлился, причём сильно. Он понял, что играючи победить не получится, – и стал разгоняться. Его нельзя было недооценивать. Машина машиной, но всё-таки Митчелл был талантливым малым. Он разгадал стратегию Байрона и старался как можно сильнее оторваться от него на прямых, а затем потерять как можно меньше на поворотах.

Третий, четвёртый и пятый круги прошли одинаково: на прямых «Корветт» выходил вперёд, затем Байрон отыгрывался. К шестому кругу я понял, что Рэд устаёт. У него на висках блестели капли пота, он вцепился в руль, и повороты на пределе человеческих возможностей давались ему не так легко, как в начале гонки.

Седьмой круг Митчелл закончил, отрываясь от Байрона на четыре корпуса.

Если бы Байрон ехал налегке – в одиночку, с пустым баком, он бы победил запросто. Так мне казалось в тот момент. Но всё было против него – возраст машины, её класс, её вес. А Митчелл снова немного расслабился, вошёл в ритм. Он мог себе это позволить.

Вероятно, толпа в тот момент скандировала: «Митчелл! Митчелл!» – но за рёвом моторов этого было не услышать.

Миновали восьмой и девятый круги, наступил десятый. Митчелл пересёк линию старта на три корпуса раньше Рэда.

В этот момент я почувствовал какие-то изменения. Я посмотрел на Рэда и понял, что он снова расслаблен – как в самом начале. Он опять сидел ровно и держал руль свободно, не сжимая его изо всех сил. И уже на пути вниз он легко отыграл эти три корпуса.

Проблема заключалась в том, что все предыдущие круги Митчелл заканчивал раньше Байрона. Чтобы успеть первым пересечь линию финиша, Рэду нужно было набрать минимум четыре корпуса преимущества перед последней прямой. Как он собирался это сделать, я не понимал.

Более того, он не стал обходить Митчелла на последней, ведущей вверх серии поворотов. Он держался позади, и мне показалось, что он хочет выйти на прямую одновременно с «Корветтом». Но это же заведомый проигрыш!

Лишь после финиша я понял, что вся гонка была не более чем игрой кошки с мышью. Я думаю, Рэд мог бы привезти Митчеллу круг, а то и больше. Но он издевался над парнем, позволяя тому поверить в возможность победы.

Оставался последний поворот – и всё, финишная прямая. Проигрыш, второе место, прощай, «Олдсмобиль». Рэд держался вплотную за Митчеллом.

И в этом самом последнем повороте он его поддел. Чуть приблизился, вильнул носом – и неожиданно Митчелл исчез, пропал в облаке пыли, а перед нами оказалась совершенно свободная прямая. Я понял, что Рэд повторил трюк Митчелла, применённый против Харперсона. Только Рэд сделал это более изящно и гораздо более обидно для проигравшего.

«Корветт» не перевернулся. Его закрутило, и он застрял в песке – точно как после собственной ошибки в предыдущей гонке. А Байрон резко сбросил скорость. Спидометр показывал едва ли двадцать миль в час, когда «Олдсмобиль» величественно проезжал перед трибунами. На лице Рэда не было никаких эмоций – только морщины у глаз стали более заметны, словно он прищурился под круглыми тёмными очками. Он ехал настолько медленно, что Митчелл успел выбраться из песчаной ловушки и вернулся на дорогу.

А потом Рэд Байрон остановился, не доехав до финишной черты примерно полтора фута. «Что ты делаешь?» – в ужасе воскликнул я.

Рэд вышел из машины и прислонился к её раскалённому боку, глядя в сторону приближающегося «Корветта».

Трибуны молчали. Полная, глухая тишина обрушилась на трассу, и нарушал её только шум мотора «Корветта».

И когда Ник Митчелл первым пересёк линию финиша, зрители продолжали молчать. Он промчался мимо старого «Олдсмобиль», резко затормозил, чуть не сбив зазевавшегося зрителя, и выскочил из машины. Но все смотрели на Рэда Байрона – человека, который побил Митчелла и так изысканно унизил его, демонстративно подарив победу в заезде.

Митчелл шёл к Байрону, и его поведение не предвещало ничего хорошего. Основной проблемой Митчелла было то, что он совершенно не понимал, что произошло. Он не понимал, почему трибуны молчат, почему «Олдсмобиль» остановился, почему Байрон, проигравший гонку, столь спокоен.

Он подошёл к Байрону, огромный, разъярённый, и навис над этим маленьким человечком, пытаясь прочесть его взгляд через солнцезащитные стёкла.

«Ты проиграл», – прошипел он громко, так, что близстоящие слышали.

И ещё эту фразу услышал финишный судья с клетчатым флагом. Он подошёл, безликий человек неопределённого возраста, и сказал: «Нет, Митчелл, ты проиграл».

И положил флаг на капот «Олдсмобилia».

Зрители не знали фамилии Рэда и потому начали кричать: «Олдсмобиль! Олдсмобиль!» Точно как раньше звучало: «Митчелл! Митчелл!»

Я выбрался из машины одновременно с Байроном и стоял рядом, изучая толпу и пытаюсь разделить её на лица. Но у меня не получалось: толпа оставалась толпой.

Тут кто-то схватил меня за рукав. Это был тот самый мужчина, который в первом заезде сделал ставку на Харперсона.

«Я всё поставил на „Олдсмобиль“! – жалобно воскликнул он. – Кто победил, объясните мне!»

«Олдсмобиль», – кивнул я.

«Спасибо!» – мужчина радостно улыбнулся и исчез.

Скорее всего, я ему не соврал. В случаях, когда один гонщик по собственной инициативе отдаёт победу другому на последних ярдах дистанции, букмекеры выплачивают ставки по пришедшему вторым как по победителю. Чаще всего такие случаи происходят из-за командной тактики. Я мог бы привести ряд примеров, но не буду перегружать свою историю цифрами – полагаю, их и так достаточно.

Рэд молча сел в машину, и я сделал то же самое. Он тронулся с места, и никто ему не мешал – ни Митчелл, ни зрители, ни судья. Лежавший на капоте клетчатый флаг упал в пыль. Мы выехали с заднего двора и оказались на трассе. Рэд повернул к Гранд-Джанкшену, а я сидел и молчал, потому что мне было нечего сказать.

Только через десять минут я спросил: «Кто вы такой, Рэд?»

«Когда-то меня звали Роберт Байрон, – ответил он. – И тогда никто не спрашивал меня, кто я такой».

Мне нечего добавить к этому рассказу. Путь до Гранд-Джанкшена прошёл в молчании. Не знаю, что изменилось в наших отношениях, но я просто понимал, что говорить незачем. Тишины вполне хватало.

Он довёз меня до главных ворот Национального парка Колорадо, массивной кованой двери с витиеватым узором. Кажется, сегодня этих ворот уже не существует, как и ограды, отделяющей парк от остального мира. Я не буду рассказывать, для чего мне понадобилось в заповедник, – это неважно. Важно то, что сказал мне Рэд при расставании.

«Запомни, парень, иногда нужно отвести взгляд, чтобы увидеть самое важное, и убраться кулак, чтобы нанести самый сильный удар».

Я помню это и сегодня.

А Рэд Байрон умер в чикагском отеле одиннадцатого ноября 1960 года, едва успев лечь в постель после того, как его сердце не выдержало. Ему было сорок пять лет, но он выглядел на семьдесят. Морщины покрывали его лицо, тёмные очки прятали выцветшие усталые глаза, левая нога болела так, что он не мог и нескольких часов провести без укола обезболивающего.

Но я представляю Байрона другим. Я представляю, как он привязывает ногу бечевой к педали сцепления своего «Олдсмобилia», чтобы выиграть очередную гонку 1949 года и стать первым в истории чемпионом в соревнованиях американских сток-каров. Я представляю, как он морщится от боли по десять раз на круге – когда на изуродованную ногу приходится давление. Я представляю, как он снова садится в автомобиль, и снова, и снова, и так без конца, потому что его зовут Рэд Байрон и он самый быстрый человек в Америке, а может, и во всём мире.

И когда я смотрю современные гонки, когда я слышу, что гонщики жалуются на недостаточную зарплату в десять миллионов долларов в год, когда они говорят, что гонки опасны,

хотя за последние десять лет во всём мире погибла едва ли дюжина человек во всех многочисленных видах автогонок, мне становится тошно.

Потому что я понимаю, что в стране, где когда-то жил-был великан, мы навсегда остаемся пигмеями.

Ковёр из женских волос

Сколько я себя помню, на стене в нашей гостиной висел ковёр из женских волос. Конечно, когда я был маленьким, я не понимал, из чего он сделан. Я подходил и дотрагивался до его блестящих нитей, мне нравился их пыльный, чуть сладковатый запах. Много позже я почувствовал этот же запах в старой парижской квартире своих друзей, у которых гостил несколько недель. Этот запах преследовал меня, не давал уснуть – нормально я выспался, только вернувшись из Парижа обратно в Бостон. Это запах разложения, запах смерти, запах гниения. Я нередко ощущал его там, где не могло быть никакого разложения, – например, в знаменитых европейских оссуариях; хранящиеся там кости давно высохли и превратились в строительный материал.

Впрочем, неважно. Итак, уже став взрослым, я сумел идентифицировать запах, исходящий от ковра. Но в бытность свою ребёнком я просто принимался к странному стенному украшению и не пытался найти никаких объяснений его присутствию в нашей гостиной.

Мои родители покинули Великобританию в 1915 году, в разгар Первой мировой войны. Ко времени их отъезда Британская империя уже официально объявила войну Германии, Австро-Венгрии и Турции, военные действия на материке велись довольно активно, и мой отец, Майкоп Стэнфорд, откровенно испугался. Он продал часть недвижимости, забрал жену и сына (моего старшего брата) и отплыл в США на одном из многочисленных океанских лайнеров. Он обосновался в пригороде Бостона, Арлингтоне. Отец был полон решимости начать в Америке новую жизнь. Он приобрёл великолепный особняк конца девятнадцатого века, обустроил его по-своему (сегодня говорят «сделал ремонт») и обставил новой мебелью. Прекрасные викторианские гарнитуры из нашего Банберского дома были проданы.

Мать очень держалась за старые вещи. Она хотела погрузить на корабль несколько сундуков со своими платьями и детскими игрушками моего брата. Отец запретил. «Всё купим на месте», – сказал он и сдержал своё слово. Всё, что можно было заменить, он называл бесполезным и безжалостно оставлял в Старом Свете.

Некоторые вещи он оставить не смог. Конечно, родители забрали всё фамильное золото и серебро, картины, библиотеку. Всё достаточно компактное и при этом имевшее огромную ценность. В коллекции отца были подлинники Тёрнера, Блейка, Бонингтона и Рунге – мог ли он расстаться с ними?

Вместе с многочисленными украшениями и произведениями искусства в Арлингтон переехал и ковёр из женских волос. Его повесили в гостиной в 1917-м, годом позже родилась моя сестра, а ещё три года спустя – я.

Я люблю этот огромный дом. Мне нравится бродить по его комнатам, рассматривать картины, утопать в персидских коврах. Сейчас я живу в нём один-одинёшенек, лишь приходящая обслуга поддерживает особняк в чистоте и порядке – сам бы я никогда не справился. Моя жена, как всегда, отправилась в одиночку путешествовать по Южной Америке, а дети давно учатся в других городах. И ковра из женских волос больше нет на стене гостиной. Собственно, я и хочу рассказать вам историю его исчезновения.

* * *

Впервые я узнал, из чего сделан ковёр, уже после смерти отца. Он умер в 1932 году в возрасте шестидесяти шести лет. Мне тогда было одиннадцать, а брату – двадцать два. Брат уже не жил в особняке – он учился в Кембридже и появлялся дома лишь изредка, прокуренный, загорелый, с оббитыми костяшками пальцев. На вопросы он отвечал: занимаюсь боксом. На

самом деле брат участвовал в нелегальных боях на деньги; тремя годами позже ему размозжили голову в каком-то тёмном переулке.

Мать трудно переживала смерть мужа. Она была младше отца на двадцать лет и сохраняла свою красоту даже за сорокалетним рубежом. Но после смерти Майкопа мама начала чахнуть. Она не дожила до смерти старшего сына – слава богу. Таким образом, к началу Второй мировой войны в особняке жили только мы с сестрой да слуги. Нашим опекуном стал старинный друг отца Генри Спэктон, который управлял активами отцовских заводов (в конце 1910-х отец купил несколько прядильных производств и превратил их в серьёзную компанию по пошиву одежды), а заодно распоряжался нашими деньгами. Наверняка он приворовывал, но не слишком много.

По крайней мере я не работал ни дня в своей жизни и ни в чём себе не отказывал: фабрики и сегодня приносят мне стабильный доход.

Я очень хорошо помню, как выглядел ковёр. Примерно шести футов в высоту и десяти в ширину, он состоял из сложных хитросплетений волос различной длины, цвета и качества. Количество неповторяющихся элементов узора не поддавалось подсчёту. Тут были цветы, причём каждый лепесток сделан из волос другого качества; были имитации древесных ветвей, сплетённых из тугих каштановых кудрей; с ветвей свисали тяжёлые плоды, скрученные и сваленные из волос шары. В безумном буйстве волосяного леса можно было заметить райских птиц с узорчатыми хвостами; могучий ягуар скалил зубы, положив тяжёлую лапу на странный предмет, служащий центральным элементом ковра. В детстве я никогда не задумывался, что это такое. Но однажды я смотрел на ковёр с некоторого расстояния, футов эдак с двадцати, и вдруг всё понял. Предмет в центре был человеческим черепом, рельефно выступающим из ковра. Он представлял собой волосяной шар характерной формы: глазницы выплетены волосами цвета воронова крыла, сам череп – светлыми кудрями. С тех пор я начал инстинктивно сторониться чудовищной картины.

Разговор о ковре произошёл, кажется, в 1934 году. Мать сидела над альбомом с викторианскими фотографиями, а я вертелся рядом. Мы начали о чём-то разговаривать, постепенно разговор перешёл на стоимость и ценность картин, а потом каким-то образом добрался и до ковра.

«А из чего он, мама?» – спросил я без задней мысли.

Она грустно улыбнулась:

«Из женских волос».

Сначала я не поверил, но мать попросила меня присесть и рассказала историю ковра. До сих пор нет ни одного доказательства того, что эта история вымышлена. Скорее всего, мать рассказала чистую правду. Конечно, я привожу историю не в том виде, в каком её представила мать. С тех пор я провёл много различных исследований, беседовал со многими людьми, копался в архивах. Мать заложила лишь основу, «скелет» истории.

История ковра

Моды Викторианской эпохи заметно отличались от современных, хотя сменялись практически с такой же скоростью. В одном сезоне женщины ходили в платье с бантом спереди, в другом появлялись ленточки сзади; существовали еженесячные и еженедельные журналы, аналогичные современному *Cosmopolitan*, по которым дамы девятнадцатого века ориентировались в изменчивом мире моды.

Причёски тоже были разными. Из волос создавались сложные, необыкновенно красивые конструкции. На одну подобную причёску могло уходить по шесть-семь часов. Естественно, мыли голову гораздо реже, чем сейчас, особенно если учесть, что не было централизованного водоснабжения и специальных средств по уходу, например шампуней. Невзирая на все эти трудности, женщины носили исключительно длинные волосы. Длина и густота женских волос были важнейшими признаками красоты и сексуальности (собственно, одной из причин обязательного сокрытия волос в церкви является необходимость избежать сексуального подтекста). Иной раз некрасивая женщина с волосами, достигавшими земли, ценилась мужчинами больше, чем коротковолосая красавица.

Девочек с младенчества обучали одеваться изящно и ухаживать за волосами. Эти девочки к шестнадцати годам превращались в прекрасных девушек – не то что сегодня. Они умели подчеркнуть достоинства собственной фигуры, они прекрасно знали, какое выражение лица им идёт, а какое их портит. И, конечно, их причёски и шляпки неизменно привлекали внимание алчных мужчин (да, мужчины всегда были одинаковы).

Викторианская девушка имела волосы длиной примерно три-четыре фута. Наиболее терпеливые отращивали волосы до самой земли. Фотографии женщин с распущенными волосами стали отдельным жанром фотоискусства. Из Англии этот жанр перекочевал в Америку – примерно в 1870-е годы. Карточки с викторианскими Рапунцель сегодня ценятся; среди обычных открыток в лавке у старьевщика их не найдёшь.

Наиболее известными дамами с очень длинными волосами были семь сестёр Сазерленд. Они были некрасивы – все семеро. Но пятьдесят футов волос на семерых – представляете себе? Они демонстрировали свои достоинства в цирке Барнума и Бейли, обратив волосы в золото. А затем организовали производство различных средств для ухода за волосами, выступая в качестве живой рекламы. Три миллиона долларов для середины 1890-х годов – гигантская сумма.

Впервые сёстры начали выступать в цирке Барнума и Бейли в 1882-м. Старшей, Саре, тогда было тридцать шесть лет, младшей – Доре – восемнадцать. Девушки умели не только «трясти гривами», но и великолепно петь, поэтому шоу пользовалось успехом. А в 1885 году Наоми Сазерленд вышла замуж за Генри Бейли, племянника совладельца цирка. Для Бейли семья Сазерленд из наёмных артистов превратилась в родственников.

В 1882 году отец девушек Флетчер Сазерленд начал производство «средства для роста волос». По утверждению Флетчера, в состав средства входили тетраборат натрия, соль, хинин, шпанская мушка, лавровишневая вода, глицерин, розовая вода, спирт и мыло. То есть оно представляло собой что-то вроде шампуня. Впоследствии одна из крупных фармацевтических лабораторий провела независимое исследование средства и выяснила, что оно на пятьдесят шесть процентов состоит из обычной воды, а на сорок четыре процента – из лавровишневой, плюс немного соли. Но семь длинноволосых дочерей Сазерленда были великолепной рекламой для его «средства». Помимо того, Сазерленд производил краску, мыло и средство для восстановления тонких и ломких волос.

Вот тут-то и начинается история ковра. Дело в том, что в 1886 году Генри Бейли вложил свои деньги в рекламную кампанию, положившую начало состоянию Сазерлендов. Вся

рекламная кампания базировалась на постулате «Семь сестёр Сазерленд представляют». Торговая марка и запоминающийся слоган. На всех рисунках и снимках сёстры появлялись вместе.

Но в 1893 году тридцатипятилетняя Наоми Сазерленд скоропостижно скончалась. Её смерть могла серьёзно нарушить рост бизнеса (к тому времени количество производимых продуктов выросло втрое), и потому было принято беспрецедентное решение. Сёстры наняли девушку по имени Анна Луиза Робертс, которая внешне напоминала Наоми и – главное! – имела такие же шикарные волосы. Одним из ходовых трюков Наоми было полное заворачивание в собственные волосы (длиной порядка пяти с половиной футов). Робертс же обладала волосами девятифутовой длины, которым завидовали даже сёстры Сазерленд.

Сёстры планировали выстроить для Наоми мемориальный мавзолей стоимостью порядка тридцати тысяч долларов, но до этого дело не дошло, потому что свободных денег не было. Наоми похоронили в семейном склепе. Впрочем, на самом деле средств было предостаточно. Особняк, который построили для себя сёстры Сазерленд, поражал количеством комнат и роскошью. В спальне каждой сестры располагался бассейн с проточной водой – она подводилась из специальных баков, расположенных в подвальных помещениях. Наоми же похоронили тайно именно потому, что её смерть необходимо было скрыть. Внутри склепа нет имени – табличку решили не устанавливать.

В то время как Анна Луиза Робертс исполняла на публике роль пятой сестры, волосы Наоми не пропадали даром. Перед захоронением её роскошные волосы аккуратно срезали и сплели из них некий узор, который впоследствии стал частью этого самого ковра. Где именно находятся волосы Наоми, выяснить, к сожалению, сложно: каштановых оттенков в ковре много, и какие из волос принадлежат ей, какие – другим донорам, догадаться невозможно.

Вы можете спросить – а как же ковёр попал в Англию? Очень просто. Собственно, в Англии искусство создания узоров из волос было гораздо более развито, нежели в США. А волосы сестры Сазерленд представляли собой невероятно ценный материал для изготовления украшения. Их упаковали и переправили в Англию – к местным мастерам.

Вторая часть истории началась в 1899 году, когда пятидесятилетняя Виктория Сазерленд неожиданно вышла замуж за девятнадцатилетнего парня. Различные проходимцы вились вокруг не слишком юных и далеко не красивых сестёр постоянно – всё-таки их состояние было огромным. Например, некий Фредерик Кастрмейн ещё в 1892 году сблизился с сёстрами, увиваясь за самой молодой (тогда ей было двадцать девять лет) и симпатичной Дорой, но в итоге женился на сорокалетней Изабелле, которая его впоследствии пережила и умудрилась второй раз выйти замуж за другого проходимца, на шестнадцать лет младше себя.

А вот история Виктории выглядит несколько печальнее. Из-за чудовищно неравного брака – тридцать один год разницы! – другие сёстры перестали с ней общаться. У неё осталась часть акций компании, но она была вынуждена перебраться в другой дом вместе со своим муженьком. А в 1902 году Виктория неожиданно умерла, причём явно не без посторонней помощи. Акции достались мужу, он куда-то пропал, а тело Виктории отправилось в фамильный склеп. Волосы Виктории Сазерленд были использованы для изготовления ковра с аппликацией в виде ягуара, держащего лапу на человеческом черепе. Ковёр заказал её муж, после чего сложил пожитки и отплыл в Англию.

Но была ещё одна причина отдаления Виктории от семьи. Почему мальчишка выбрал именно её? В том же году он вполне мог соблазнить ещё не потерявшую привлекательности тридцатисемилетнюю Дору.

В период расцвета бизнеса сёстры ворочали огромным состоянием, но в 1898 году оно неожиданно сократилось примерно на одну треть. Около пятисот тысяч долларов было просто изъято из оборота, и кем – именно Викторией! А годом позже она вышла замуж. Такая растрата не разорила предприятие. Вопрос был лишь один: куда делись деньги?

Чтобы ответить, придётся немного забежать в будущее. В 1905 году в Южной Африке был найден гигантский алмаз «Куллинан» весом в три тысячи сто шесть карат. Спустя два года правительство Трансвааля преподнесло алмаз английскому королю Эдуарду VII в подарок на день рождения. Но огранить такой большой камень не представлялось возможным, тем более что в нём присутствовали инородные включения и многочисленные трещины. В итоге лучшие голландские ювелиры братья Ашер раскололи алмаз на девять камней поменьше и огранили их. Самый крупный камень «Куллинан I» имеет вес пятьсот тридцать и две десятых карата и украшает сегодня королевский скипетр.

Однако это ещё не всё. Судя по форме изначального камня, «Куллинан» был осколком какого-то более крупного алмаза. Тщательный анализ показал, что, вероятно, где-то в недрах южноафриканских земель хранится второй кусок «Куллинана», причём больший, нежели найденный. В Трансвааль было отправлено несколько экспедиций с единственной целью – найти второй «Куллинан». Рудник «Премьер», на котором обнаружили камень, кипел около двух лет. «Куллинан» нашли на глубине примерно тридцати футов, после же дополнительных поисков глубина карьера зашкалила за сто футов! Сам Томас Куллинан, владелец рудника, спускался в карьер и даже сделал несколько ударов киркой. Всё было напрасно.

Но вот незадача. В 1897 году на «Премьере» побывала группа американских путешественников и искателей приключений. Точнее, никакого рудника в то время ещё не было, земля никому не принадлежала, и накопать себе алмазов мог любой прохожий. Американцы были профессиональными золотоискателями, просто золота находили с каждым годом всё меньше и меньше, Клондайк заповили старатели, а аляскинские месторождения ещё толком не разрабатывали. Алмазная лихорадка в ЮАР была на спаде, практически все шахты после выкупа контрольного пакета акций у «Кимберли» принадлежали монополисту Сесилу Родсу, а искателей-частников порой просто отстреливали.

Американцы полгода копались на месте будущей шахты. Они застолбили небольшой участок земли, вырыли яму, которую и шахтой не назовёшь, и понемножку добывали мелкие алмазы, далеко не всегда годные для огранки. Но вдруг они неожиданно снялись с места и уплыли обратно в США. Всё случилось в один день, как говорили местные. Вот они тут – вот их нет. Никто американцам не угрожал, землю их выкупать тоже никто не собирался. Единственный вывод, который можно было сделать: они что-то нашли.

Скорее всего, на родине они начали искать покупателя для своей добычи и поняли, что не всё так просто. Если они нашли второй (точнее, первый) «Куллинан» весом порядка пяти тысяч карат, то не каждый миллионер согласился бы на приобретение такого камня, да ещё и необработанного. Однако покупателя они нашли – им, скорее всего, и стала Виктория Сазерленд. Растратив огромную сумму из оборота компании, она тут же вышла замуж и отделилась от сестёр. Зачем ей понадобился алмаз? Вот этого я не знаю.

Но вернусь к ковру. Итак, в 1893 году, после смерти Наоми, её волосы переправили в Англию и сделали из них ковёр. Конечно, одноцветные волосные аппликации ценились не слишком высоко, поэтому в поделку вплели волосы других женщин. Это были «свежесобранные» волосы живых доноров: мастера скупали их у населения за небольшую плату. Другое дело, что волосы достойной длины и качества носили в основном женщины из высшего общества, которые вряд ли продали бы их за бесценок. Да и вообще не продали бы.

В 1903 году юный вдовец Виктории Сазерленд приехал в Англию и привёз с собой упомянутый ковёр-аппликацию в виде ягуара. Он хотел, чтобы волосы его покойной супруги сплелись с волосами Наоми. Он нашёл владельца первого ковра и мастера, который его изготовил, и, выкупив ковёр, попросил объединить оба изделия, нашив ягуара на узоры из лиан и колибри.

Деньги, доставшиеся от покойной жены, молодой человек промотал достаточно быстро и уже в 1907 году был убит в кабацкой драке кривым ножом какого-то матроса. Незадолго до смерти он пытался найти в Лондоне человека, способного сразу заплатить большую сумму за

некий товар. Вероятнее всего, он искал покупателя на алмаз, но такового не нашлось. Имущество покойного было распродано с молотка – и обладателем ковра из женских волос стал мой отец. Слава сестёр Сазерленд была велика, и то, что в ковре использованы волосы Наоми и Виктории, было не скрыть. Остальные «доноры» оставались безымянными.

Собственно о ковре больше рассказать нечего. Точнее, о его истории вплоть до появления в нашем доме. Дальнейший мой рассказ пойдёт о том, как волосы сестёр Сазерленд вернулись назад, в Америку.

* * *

Итак, ковёр висел на стене особняка, сколько я себя помню. Постепенно нас становилось всё меньше и меньше: сначала ушёл отец, затем – мать, затем – брат. В 1939 году моей сестре исполнился двадцать один год, и она вступила во владение нашим имуществом. Я в это время учился в Бостонском университете.

В конце 1941 года Соединённые Штаты вступили во Вторую мировую войну, а годом позже я собрал пожитки и пошёл добровольцем в армию. Сестра кричала, билась в истерике, говорила, что меня убьют, но мне было безразлично. Я прошёл подготовку и в 1943 году оказался в Европе, в самом центре событий. Да, я видел войну – не то чтобы от начала, но уж точно до самого конца. Эта история – вовсе не о войне, и потому я не хочу рассказывать о двух годах, проведённых на фронте. Посмотрите на старые фотографии. Те самые, где вооружённый до зубов американский солдат с рюкзаком открывает дверь барака, выпуская на воздух живые скелеты гитлеровских концлагерей. Этот солдат – я. Мы все были такими солдатами, и мы не могли поверить, что человека можно довести до такой степени истощения и унижения. Более того, мы не могли поверить в то, что человек может выжить в таких собачьих условиях.

Мы чувствовали себя освободителями. Мы не приняли на себя страшную ношу первых дней войны, нас не сминали гитлеровские танки, нас не вытаскивали из домов в ночных рубашках и не расстреливали на морозе. Мы пришли, будучи сильнейшими, и добавили ослабленную фашистскую машину. Будем честны: Европа справилась бы и без нас. Но с нами ей было гораздо проще.

Я вернулся в 1945 году – победителем. Война с Японией ещё шла, но нас, входивших в Берлин, нас, видевших Дахау своими глазами (да, я стрелял в пленных немецких солдат, я ненавидел их и стрелял в их свастики, в их бескровные лица, они были безоружны, а я – стрелял), видевших, как заключённые разрывают на части попавшихся в их птичьи когтистые пальцы надсмотрщиков, нас – отпустили домой. Мы шли по улицам собственных городов, полные уверенности, что мы – победили. Не они, не эти русские и англичане, а мы – американцы.

В том же году моя сестра вышла замуж за очень обеспеченного человека на пятнадцать лет её старше и уехала с ним в Питтсбург. Особняк остался за мной. Сначала мне было одиноко, но вскоре я привык. В университете я восстанавливаться не стал, хотя успел закончить четыре курса и оставалось отучиться всего лишь полгода. Мне было лень, доходов хватало, управляющие вполне справлялись со своей работой. Я превратился в богатого бездельника и прожигателя жизни. Я бахвалился своим героизмом (впрочем, не совсем уж голословно – я ведь воевал по-настоящему, и стрелял во врага, и шёл в атаку), легко снимал девочек, легко с ними расставался.

В 1946 году я наткнулся в газете на заметку о смерти некой Грэйс Сазерленд, девятиста двух лет от роду. Там упоминалось, что некогда она была очень богата, в 1920-х годах растратила вместе с сёстрами всё состояние, и старость её прошла в нищете.

И я вспомнил мамины рассказы. Я проассоциировал старуху Сазерленд с семьёй сёстрами и понял, что это – одна из них. Именно тогда я впервые подумал, что сказки о том, что ковёр сплетён из волос семи девушек – так говорила мама; что в ковре есть волосы лишь двух сестёр,

я узнал самостоятельно гораздо позже, – правдивы. И я, как ни странно, взялся за расследование. Для меня нашлось дело, которое заняло свободное время, а также потребовало финансовых расходов и приложения ума. Я уже не бродил бесцельно по многочисленным комнатам отцовского особняка, не водил по нему девушек нетяжёлого поведения, не просиживал днями у радиоприёмника.

Я копался в библиотеках, чтобы выяснить обстоятельства жизни и смерти семи сестёр Сазерленд. Многочисленные их фотографии были сделаны в различных студиях в Питтсбурге (Morris), Нью-Джерси (Wendt), Коламбусе (L. M. Baker) и других городах США. Я объехал все эти адреса (Wendt, кстати, по-прежнему существовал), я искал упоминания в газетах, рекламные проспекты и статьи о цирке Барнума. Так постепенно я открывал для себя мир сестёр Сазерленд. Почти все сведения, которые я привёл в истории ковра из женских волос, я почерпнул из этого расследования.

Я пригласил эксперта, который исследовал ковёр с увеличительным устройством, ни разу даже не прикоснувшись к драгоценным волосам. Эксперт подтвердил, что ягуар с черепом были прикреплены к лесному фону позже, но, похоже, тем же мастером, который делал фон. Ягуара явно сплели другие руки.

Юного мужа Виктории звали Чарльз Моутон. Всё в его поведении было понятно – от женитьбы на Виктории до присвоения денег после её смерти. В принципе Виктория считалась самой красивой из сестёр – и была красавицей году эдак в 1870-м. Но никак не в пятьдесят лет. Поэтому Чарли наверняка обрадовала её кончина. Более того, журналисты, освещавшие эту историю в газетах, допускали, что он приложил руку к её скоротечной болезни. Впрочем, то были дела давно минувших дней. Гораздо более меня интересовало, зачем Моутон выкупил часть ковра из волос Наоми и заказал большой ковёр, вплетя в него волосы своей жены. Единственный нелогичный поступок в его странной жизни. И зачем было заказывать ягуара в США, а потом поручать английскому мастеру объединять ковры? Это оставалось загадкой.

Неожиданно я вышел на историю с «Куллинаном», что дало моим розыскам новое направление, причём достаточно объёмное – я сам плавал в ЮАР и ходил по приискам. Я нашёл очевидцев, которые помнили американцев, приезжавших полвека назад. Один глубокий старик был у них проводником и слугой. Он-то и рассказал историю об их внезапном отъезде. Они оставили ему более чем щедрое жалованье (он купил себе стадо и немного земли для пастбища) и снялись буквально в один день. Старик больше ничего не знал. Но догадка моя о том, что американцы нашли первый «Куллинан», получила более чем твёрдую опору.

Мои исследования тянулись более пяти лет. В 1952 году я знал всё, что рассказал вам (конечно, узнал я намного больше, но пришлось серьёзно ужимать историю, чтобы она хотя бы казалась интересной). Но куда делся камень? Моутон явно увёз его в Англию, потому что искал там перекупщика. И, судя по всему, не нашёл. Поэтому дальше мне надо было выяснить, кому и что досталось из имущества покойного. Я отправился в Англию и прожил там два года.

Это были спокойные годы. Денег мне хватало с избытком – я арендовал квартиру в центре Лондона и проводил всё время в исследованиях. Я беседовал с судебными приставами, адвокатами, покупателями. Прошло сорок пять лет, многие были уже мертвы, а живые почти ничего не помнили. Я навязывался в гости к людям, владевшим вещами Моутона, я простукивал стены и изучал документы.

Более всего меня интересовали именно предметы мебели, которые он зачем-то погрузил на корабль и повёз с собой в Англию. Самым «перспективным» мне казался старинный комод восемнадцатого века, который Моутон купил ещё в США. В 1954 году, когда я впервые его увидел, комод принадлежал пожилой чете по фамилии Стиверс. Эти люди, очень милые и болтливые, напоили меня чаем и разрешили покопаться в комодe – их личных вещей там почти не было, он служил чем-то вроде декорации в огромной гостиной. Стиверсы купили

комод непосредственно на аукционе; они в тот год только поженились и как раз обзаводились мебелью.

Я объяснил, что комод имеет историческую ценность и требует занесения в какой-то там реестр. Да, я нагло врал старикам, но моя ложь не вела ни к каким пагубным для них последствиям. После получаса копания в комод я нашёл потайное отделение. Вы не можете себе представить, как билось моё сердце, когда я открывал его. Внутри я нашёл небольшую стопочку бумаг. С первого взгляда я понял, что эти бумаги не принадлежат Стиверсам. Первая же была векселем на имя Чарльза Моутона. Стиверсы находились в другой комнате, и я спрятал бумаги за пазуху, после чего аккуратно задвинул потайной ящичек обратно. Так я получил новую нитку, за которую можно было потянуть.

* * *

Бумаги я изучил тем же осенним вечером 1954 года. Там были давно потерявшие свою ценность закладные на имущество, неиспользованный билет на корабль до Дублина и множество счетов. И конечно, долговые расписки – более тридцати бумажек, написанных от руки. Судя по всему, Моутон активно играл на скачках и в азартные игры – и всегда проигрывал.

Среди счетов я нашёл один, который меня весьма заинтересовал. Это был счёт от анатома с указанием фамилии врача и города, где он практиковал. Счета от анатомов – вещь не слишком частая. Такой счёт можно встретить, если, например, врач проводил вскрытие по требованию родственников. Собственно, в документе встречалось слово «вскрытие». А «пациентом» была Виктория Сазерленд. Счёт был оплачен. Видимо, он случайно затесался среди других бумаг.

Но у меня возник резонный вопрос: зачем понадобилось Моутону вскрытие покойной супруги? Да ещё такое, чтобы о нём никто не знал. Обычно вскрытие делается, чтобы выяснить причины смерти, а потом написать о них в некрологе. Но в газетных некрологах не было указано, от чего умерла Виктория. Просто «умерла». Поэтому и возникла некоторая шумиха, связанная с возможностью отравления её Моутоном. Я ничего не понимал: он что, отравил её, а потом решил убедиться, что погибла она именно от яда?

Я продолжал свои изыскания в Англии до конца 1954 года, а в декабре вернулся обратно в США. По возвращении первым же делом я отправился в Локпорт. Странно, но до сих пор я ни разу не упомянул, что легендарный особняк сестёр находился в Локпорте, штат Нью-Йорк. Я не раз посещал Локпорт, бродил по кладбищу, нашёл склеп, где гипотетически была похоронена Наоми. В 1948 году я даже провёл несколько часов в развалинах особняка Сазерлендов, дотрагивался до ободранных стен, пытался найти какие-либо тайники – впрочем, Сазерленды продали дом ещё в начале двадцатых, и все тайники наверняка нашли без меня. Годом позже особняк снесли; в подвале обнаружили огромный запас стеклянных бутылочек из-под удивительного тоника для волос – почему-то последний владелец никогда не заходил в ту часть подпола. Я выкупил несколько бутылочек для коллекции.

Но в 1955 году я отправился в Локпорт в первую очередь для того, чтобы найти анатома, вскрывавшего Викторию Сазерленд. Его фамилия была Пинбэк, и я нашёл дом, где он практиковал полвека тому назад. «Доктор Л. Пинбэк» – гласила табличка.

Людвиг Пинбэк, внук Сэмюэла Пинбэка, принял меня радушно, расспросил, что я знаю о его дедушке, и рассказал, что тот был вовсе не патологоанатомом, а обычным практикующим врачом. С трупами он работал исключительно за большие деньги или по полицейскому ордеру. Просто он был очень хорошим специалистом – гораздо лучшим, чем штатный патологоанатом, и полиция штата не скупилась, чтобы точнее определить причину смерти в спорных случаях. Сын Сэмюэла стал адвокатом, а Людвиг решил вернуться к семейной профессии.

Пользуясь гостеприимством врача, я показал ему счёт Чарльза Моутона и спросил, можно ли выяснить, какую работу проводил доктор Пинбэк с телом Виктории Сазерленд. Людвиг легко подтвердил: можно. Прошло более полувека, и соблюдать врачебную тайну покойницы было бы довольно странно.

Сэмюэл вёл очень подробные дневники. Он описывал каждую работу в мелочах, на многих пациентов (правда, живых) держал целое досье. На счёте стояла дата, и Людвиг довольно быстро нашёл отчёт за указанное число. Он начал просматривать отчёт – и неожиданно присвистнул:

«Да! Тут и в самом деле есть кое-что необычное».

«Что?»

«Это был чёрный заказ. То есть нелегальный, за хорошие деньги. Очень хорошие. Сколько там в счёте?»

«Десять долларов».

«На самом деле указана сумма две тысячи».

Тут настала моя очередь удивляться. За какую однодневную работу патологоанатом в 1902 году мог запросить две тысячи долларов?

«Почитайте сами», – Людвиг передал мне тетрадь.

Я прочёл и пришёл в смятение. По заказу Чарльза Моутона доктор Сэмюэл Пинбэк отделил от тела Виктории Сазерленд голову и отчистил череп до состояния, в котором его можно было показывать в качестве методического пособия. Также патологоанатом помог поместить Victорию в гроб. Самое странное то, что всё это происходило уже после того, как сёстры попрощались с почившей, и даже – судя по дате – после похорон! Почему-то раньше я не обратил внимания на этот факт. Похороны были подделаны?...

Но я читал дальше. Гроб с телом доставили на кладбище и похоронили как подобает. Могила, вырытая за день до этого, уже ждала.

Скорее всего, подумал я, Моутон подкупил могильщика, чтобы тот не закапывал яму после того, как провожающие уйдут с кладбища.

Череп Виктории доктор передал Моутону, а затем выдал ему фальшивый счёт за услуги на случай, если кто-то видел вдовца входящим в дом патологоанатома. Счета у врача были стандартные, отпечатанные, на них указывалось: «Доктор Пинбэк, фармацевт, анатом». В случае вопросов Моутон всегда мог сказать, что у него проверяли, например, состояние гланд и взяли за это десять долларов. Даже странно, что мой глаз уцепился именно за слово «анатом», а не за более мирное «фармацевт».

Мы с Людвигом Пинбэком ещё некоторое время обсуждали странный заказ, выполненный его дедом, а потом я откланялся.

* * *

На следующий день я вернулся домой. Побеседовал со слугой, принимавшим пальто, потом прошёл в гостиную и некоторое время смотрел на ковёр из женских волос. Затем достал складной нож и подошёл к коврику.

Я не был уверен в том, что делаю. Но догадка, которая пришла ко мне в голову при чтении заметок Пинбэка, стала последним шансом распутать странную историю Чарльза Моутона и его покойной супруги. Я начал аккуратно перерезать внешние волосы, образующие череп под лапой ягуара. Я резал и резал – и уже думал, что внутри и в самом деле обычный волосяной шар, когда наткнулся на что-то твёрдое. Я разрезал ещё несколько волокон, а потом рванул на себя – и мне в руки выпал выбеленный, тщательно обработанный профессиональной рукой человеческий череп, служивший основой для объёмного узора. Череп Виктории Сазерленд.

Я подошёл к столу и положил череп на него. Крышка черепа была отделена от основной части, а затем укреплена скобами. Я начал по одной отгибать скобы. Всего их оказалось двенадцать. Когда я отогнул последнюю, руки мои дрожали от волнения. Я снял крышку и увидел то, что должен был увидеть.

Передо мной в глубине вычищенного черепа лежал огромный неогранённый алмаз, который так и не нашла экспедиция английского короля Эдуарда VII.

* * *

Алмаз получил название «Стэнфорд» – если вы не забыли, это моя фамилия. Он весил пять тысяч шестьсот четыре карата, или тридцать девять с половиной унций. Как и в «Куллинане», в нём были микротрещины. После полугода тщательного изучения специалисты бостонской ювелирной фирмы раскололи его одним ударом на несколько алмазов поменьше. После огранки самый большой алмаз весил тысячу триста пятьдесят шесть карат – в два с половиной раза больше «Куллинана I». Стоимость этого алмаза превышала (и превышает) стоимость всех моих заводов.

Всего вышло семь огранённых бриллиантов. Второй по размерам я подарил сестре. Третий вставил в ожерелье, которое впоследствии, в 1961 году, преподнёс своей супруге в день нашей свадьбы. Остальные хранятся в различных банках и ждут своего часа. Возможно, мне понадобится второе ожерелье: в последнее время у нас с женой отношения не ладятся, хотя мы прожили вместе более двадцати лет.

После извлечения алмаза я долго думал, что делать с черепом и ковром. Череп в итоге я захоронил на кладбище, где лежит Виктория, но не в той же могиле, а рядом. Теперь у второй сестры Сазерленд целых две могилы. А изувеченный ковёр я сложил и храню теперь в отдельной комнате с тщательно поддерживаемым температурным режимом. Это семейная реликвия. Правда, я опасаюсь, что мой старший сын, к которому перейдёт особняк, избавится от ковра, словно от старой тряпки, или продаст его кому-либо. Скорее всего, я впишу в завещание условие, что ковёр должен передаваться из поколения в поколение, пока не рассыплется в прах.

Вы можете спросить: как алмаз оказался в черепе и в ковре? Очень просто. Чарли Моутон опасался преследования со стороны сестёр Сазерленд, да и в любом случае ему нужно было пересечь границу. Поэтому он спрятал алмаз так, чтобы его точно не нашли. Он упаковал его в череп, а череп указал зашить в ковёр. Труд это небыстрый, и, скорее всего, неизвестный мастер работал под постоянным надзором Моутона. В ковре же вдовец и хранил алмаз. Вряд ли бы кто-нибудь догадался искать его там. Только вот воспользоваться украденным камнем Чарли не сумел – в какой-то мере от того, что не вполне представлял себе реальную цену добычи.

Иногда я рассматриваю старинные фотографии, на которых изображены сёстры Сазерленд. С первого взгляда все семь кажутся некрасивыми, даже уродливыми, и великолепные волосы не спасают. Но при ближайшем рассмотрении в каждой из них я нахожу какую-то удивительную внутреннюю красоту.

Сара, Виктория, Изабелла, Грэйс, Наоми, Мэри и Дора по прозвищу Китти. Станные женщины с искалеченными судьбами. Их жизни прогнулись под тяжестью их пышных тёмных волос, и ни одна из них не знала счастья. Потому что счастье – вовсе не в шикарной внешности и не в звонком голосе. Счастье – когда у жизни есть цель, смысл. Мне странно говорить об этом, ведь моей жизни смысл придал ковёр из женских волос на стене гостиной, он наполнил собой девять моих лет. Но даже такая цель – лучше, чем ничего.

Спите спокойно, семь сестёр Сазерленд.

Шкатулка с пряностями

Я постараюсь быть объективным. Впрочем, это несложно. Я не знал близко ни Рейна, ни Джонса (если это его настоящая фамилия). Они были для меня просто фигурами в большой игре под названием «жизнь», они промелькнули мимо и остались позади. Но их история стоит того, чтобы её рассказать.

Дело происходило в Сан-Антонио, штат Техас, а год был, кажется, 1967-й, хотя теперь, много лет спустя, я точно не припомню. Вся моя жизнь – это череда переездов и путешествий, причём не только по Соединённым Штатам и Мексике. Я не раз бывал в Европе, летал в Австралию, посещал Африку. Кем я работаю? Это неважно. Я и так отвлёкся от сути повествования.

В Сан-Антонио меня привели рабочие дела. Фирма платила хорошие командировочные, и я остановился в достаточно дорогом отеле, правда, на окраине города. Снаружи он выглядел не слишком типично для своего района: здание в стиле ар-деко с горгульями в качестве водосточков и тяжёлыми деревянными дверями в два человеческих роста.

Внутри было уютно: тяжёлые ковры, деревянная мебель, в огромном ресторанном камине горел настоящий огонь. Отель не пустовал: Сан-Антонио – популярный среди туристов город ввиду достаточного количества достопримечательностей исторического и технико-архитектурного характера.

Кстати, я определился с годом: всё-таки именно 1967-й. Я помню, что знаменитая Tower of the Americas как раз была в лесах, а её строили к Всемирной выставке, которая проводилась в городе в 1968 году. Значит, память меня не подводит.

Вернёмся в отель. Названия его я вам не скажу: незачем компрометировать приличное заведение.

Двери для меня распахнул швейцар с густыми усами, одетый в очень красивую красную форму с вышитой золотом эмблемой отеля. За стойкой стоял портё, который показался мне братом-близнецом швейцара: те же усы, та же форма. Он дал мне ключ от люкса на пятом (последнем) этаже и наказал бою донести мой чемодан.

«Не нужно», – отказался я от услуг мальчика. Это было ошибкой: они всегда готовы помочь в надежде на чаевые, а я сглупил. Впрочем, за время моего недолгого пребывания в Сан-Антонио я не скупился на мелочь для боя, для коридорного, для горничных и портё.

Номер мне понравился. Интерьер, выдержанный в стиле ар-деко, витые оконные рамы в духе Эктора Гимара, огромная кровать с балдахином, шикарная ванная с подогревом... В общем, всё, о чём может мечтать человек. Разложив вещи, я принял душ, переоделся в чистое и спустился в бар.

* * *

Молодой человек за стойкой бара – лет двадцати пяти, высокий, с длинными волосами, стянутыми в хвост, – приветливо улыбнулся мне и поздоровался. «Пого» – гласила надпись на табличке, прикреплённой к его форменной одежде.

Я заказал виски с содовой (да, это банально, но мне нравится виски, что поделаешь) и стал рассматривать интерьер. Бар был разделен на две части. В одной можно было заказать напитки, а другая представляла собой небольшой магазинчик. В основном тут торговали сувенирной продукцией Сан-Антонио: красиво оформленными бутылочками с напитками местного изготовления, крошечными макетами городских зданий (я узнал здание Бексар Каунти, Ацтекский

театр и ворота Национального исторического парка), а также работами местных мастеров по дереву – шкатулками, статуэтками и прочими приятными, но бесполезными вещами.

«Вас что-либо заинтересовало?» – спросил бармен.

Утро – не самое популярное время для посещения бара: два других клиента сидели за столиками, глядя в окна, и бармену явно было нечего делать.

«Нет, пока ничего», – ответил я.

«Если заинтересует, дайте мне знать».

Я кивнул.

Он смотрел на меня оценивающе, будто пытался заглянуть внутрь моей головы – и внутрь моего кошелька, конечно. Позже я понял смысл этого взгляда.

Кстати, не думайте, что я – пьяница, раз употребляю виски с утра. Это просто означает, что мне сегодня не нужно работать или проводить деловые встречи; кроме того, в день я выпиваю максимум один стакан. Дневная норма была уже выполнена, и больше я пить не собирался.

День прошёл практически впустую. Я побродил по городу, посмотрел на достопримечательности, посидел в китайском ресторане, потом включил телевизор в номере (да-да, в каждом номере там был телевизор; сегодня это привычное дело, но для 1967 года такой порядок вещей казался нетривиальным).

Я посетил музей современного искусства МакНей, основанный на тот момент совсем недавно, в 1950 году. В первую очередь меня интересовали не картины, а, скорее, интерьеры и ландшафтный дизайн окружающей территории. Впрочем, знаменитые имена, красовавшиеся на табличках под картинами, вызвали у меня какую-то дрожь в коленях. Мне было лестно находиться возле полотен, некогда созданных кистями Сезанна и Гогена, Матисса и Хоппера. Опять же, я вспомнил, что незадолго до моего визита в Сан-Антонио по телевизору промелькнула новость о смерти Хоппера: его картины тут же возросли в цене в добрый десяток раз.

Много времени я потратил на изучение работ Диего Риверы. Портрет Дельфины Флорес его кисти был первой картиной, приобретённой основательницей, миссис Марион Куглер МакНей, для своей коллекции.

Я снова отвлёкся, простите меня. Мне сложно сразу перейти к делу, потому что воспоминания накатывают волнами, и одно непосредственно связано с другим.

Вечером по телевизору я смотрел хоккей. Из американских видов спорта он наиболее мне приятен. Как ни странно, я точно помню, кто играл: «Красные крылья» из Детройта против «Чёрных ястребов» из Чикаго. Самое смешное, что я не помню, кто победил.

Потом я лёг спать.

* * *

На следующее утро я отправился в ресторан при отеле. Кормили вполне прилично, не считая того, что традиционно предложили выбор из десятка различных бургеров. От бургеров я отказался и кушал что-то более достойное моего желудка. День мне предстоял непростой.

Весь день я работал и вернулся в отель лишь под вечер, после чего почти сразу, забросив вещи в номер, отправился в бар. Здесь царил оживление. Человек пятнадцать мужчин и женщин сидели у стойки и за столиками. Семейная пара весьма благообразного вида оккупировала оба места у камина и мирно о чём-то беседовала. Вы можете спросить меня, почему я сделал вывод, что это семейная пара: я отвечу. Они просто так выглядели. Они не могли быть никем, кроме как мужем и женой. Считайте это интуицией.

Я сел на свободный стул (высокий, крутящийся) у стойки и заказал виски с содовой.

Слева, спиной ко мне, сидел широкоплечий мужчина в кружевной белой рубашке и широкополом рыжем стетсоне. Правый стул был свободен. Бармен Пого налил мне виски; я сидел и рассматривал людей вокруг.

Но отдохнуть мне не дали. Буквально через пару минут на левый от меня стул взгромоздился крупный мужчина с иссиня-чёрными волосами и сверкающими глазами. Он посмотрел на моё лицо и костюм оценивающе и, видимо, не нашёл ничего интересного, после чего громко хлопнул по стойке рукой.

«Бармен!» – взревел он.

Именно «взревел» – никакого другого слова я придумать не могу. Он говорил громко, громко двигался, громко возился в карманах. Я не люблю таких людей. Появляясь в компании, они всегда чувствуют себя центром всеобщего внимания, хотя вызывают в основном неприязнь. Некогда я читал сказку о медведе на пингвиньем балу. Медведь ходил, со всеми здоровался, все отвечали ему вежливо, чтобы не связываться, но в итоге просто игнорировали. Правда, в сказке медведь это почувствовал и ретировался с бала, а вот герой моего рассказа реакции окружающих не замечал вовсе.

Пого появился мгновенно.

«Виски! – снова проревел гость. – Неразбавленного!»

Пого исчез, а гость повернулся ко мне.

«Джонс!» – представился он.

Я назвал себя.

«Ха! – сказал он. – У меня был один знакомый с такой же фамилией. Вот-то мелочный был старикашка!»

У меня не самая распространённая фамилия, и тон Джонса навёл меня на мысль, что он попросту выдумывает. Но я смолчал.

Несмотря на всю мою неприязнь, личность Джонса вызвала у меня интерес. Пока он разглядывал людей в помещении, я рассматривал его самого. Первое, что бросилось мне в глаза, – его Rolex Sea-Dweller Submariner 2000. Я знал, что это за часы, потому что за месяц до того присутствовал на официальном представлении этой модели широкой публике. Джонс носил не подделку, а настоящий, безумно дорогой Rolex, выдерживающий давление в две тысячи футов водной толщи. При таких часах пряжка на его ковбойском галстуке вряд ли была золочёной – скорее золотой. Передо мной сидел очень богатый человек.

Часы скрылись под рукавом пиджака, а их владелец снова обратил на меня внимание. Пого уже принёс его виски.

«А вот как вы относитесь к индейцам?» – спросил Джонс ни с того ни с сего.

Я задумался. Честно говоря, я никак не отношусь к индейцам. Я чужд каких-либо расовых предрассудков. Иногда на меня находят приступы ненависти к чёрным: например, когда я еду на машине, а чёрный нарочито медленно и нагло переходит дорогу по переходу, да ещё может и средний палец показать. Но это, скорее, ненависть к отдельному индивидууму, нежели к расе как таковой.

«Ну, никак...» – ответил я честно.

Джонс посмотрел на меня как на идиота.

«У вас что, нет гражданской позиции?» – спросил он строго.

«Выходит, нет», – я пожал плечами. В спор с этим человеком мне вступать не хотелось.

Джонс, кажется, почувствовал, что со мной толкового разговора не получится, и неожиданно повернулся лицом к своему правому соседу. Насколько я слышал, он строил беседу точно так же: представился, а затем спросил про индейцев. Я отошёл от стойки, сел в кресло около окна, и вскоре я разговорился с пожилым джентльменом, который прилетел из Филадельфии специально для того, чтобы посмотреть Техас. Джентльмен оказался на редкость неэрудированным, но очень общительным и любознательным: я нашёл прекрасного слушателя, которому долго рассказывал про Сан-Антонио, Техас и историю Соединённых Штатов. Джентльмен, как выяснилось, всю жизнь работал на заводе (мастером, кажется), а на старости

лет решил посмотреть на родную страну и теперь очень жалел, что не додумался до этого лет на тридцать раньше.

Иногда я слышал доносящиеся до меня возгласы Джонса, но они меня не интересовали. Ближе к полуночи я простился со своим собеседником и отправился в номер.

* * *

На следующий день у меня должна была состояться деловая встреча около одиннадцати часов, и потому я поднялся в девять и неспешно отправился завтракать в ресторан. Бар в это время был закрыт (он открывался, кажется, в половину одиннадцатого), и По го сидел в ресторане и разговаривал с официантом. Помимо меня, в зале были ещё четыре или пять человек. Слава богу, Джонса я не заметил.

Как ни странно, но заказ мне принёс именно бармен, а не официант: тот обслуживал другой столик.

«А разве вы не работаете в баре?» – спросил я.

«Когда я нужнее здесь, я помогаю официантам».

«Вам доплачивают за это?»

«Конечно».

Все свои реплики По го произносил с лёгкой улыбкой, элегантно, приятно. Мне нравился этот молодой человек – в хорошем смысле этого слова. И в голову пришёл вопрос, который я вполне мог задать бармену.

«Скажите, пожалуйста, По го, что за птица этот Джонс?»

По го театрально закатил глаза:

«Не знаю. Но вчера он дал жару. К ночи, когда вы уже ушли, раззадорился до такой степени, что обещал купить весь отель, всех уволить и спалить здание к чёртовой матери...»

Я усмехнулся:

«Почему-то я не удивлён...»

«Слава богу, сегодня вечером он уезжает».

Я кивнул и стал есть. По го исчез.

День прошёл довольно бурно: ряд деловых встреч, документы, контракты, накладные. Днём у меня выпало два свободных часа, и я прокатился на речном трамвайчике по реке Сан-Антонио. Река, текущая через старую часть города, была неширока, небо над ней почти полностью скрывали кроны нависающих деревьев. Я сидел на скамеечке, мотор трамвайчика что-то бормотал, я попивал прохладительный напиток и старался не думать о работе.

Работа снова настигла меня часов в пять, и в отель я вернулся около девяти вечера. Приди я на пару часов позже, рассказывать было бы не о чем. Приди я раньше – тоже вряд ли бы стал свидетелем описанных далее событий.

Я быстренько, за пять минут, принял освежающий душ (день был жарким) и спустился в бар. Он практически пустовал, за исключением одного столика в самом дальнем углу. За ним сидели человек пять, которые пили пиво, размахивали руками, что-то выкрикивали наперебой, впрочем, в дружеских тонах.

Я сел с краю стойки, вплотную к сувенирному отделу. Мне хотелось рассмотреть сувениры поближе: вероятно, я даже что-нибудь приобрёл бы, сложись события иначе. По го, ничего не спрашивая, налил мне виски с содовой, и я улыбнулся ему, благодарственно кивнув.

Минут через пять в бар зашёл портье, отлучившийся со своего рабочего места. Он сел у другого конца стойки, они с По го стали тихо беседовать: я не слышал ни слова.

А ещё через пару минут появился Джонс.

Он явно был одет для путешествия. Я вспомнил слова По го о том, что Джонс уже съезжает. Чемодан, который он держал в руке, был сделан из натуральной кожи, причём, похоже,

какой-то экзотической рептилии. Марку я определить не смог, хотя в своё время интересовался чемоданным делом. Полагаю, что изделие изготовили по специальному заказу.

Джонс небрежно бухнул чемодан рядом со мной и громко сообщил: «Уезжаю!»

Я вежливо кивнул.

Только теперь Джонс заметил сувенирное отделение бара.

«О! Надо что-то купить напоследок! – сказал он и снова обратился ко мне: – Всегда привожу что-нибудь интересное из поездок. В городе времени не было, а тут – прямо как доктор прописал!»

После каждой фразы, произнесённой Джонсом, чувствовался восклицательный знак, так сказать, повисал в воздухе.

«Это что такое? – Он ткнул пальцем в деревянную статуэтку. И, прежде чем Пого успел открыть рот, добавил: – Сколько стоит?»

Я сразу понял, что он – человек, которому важна стоимость вещи, а не её эстетическая или функциональная ценность. Если можно купить галстук за пятьдесят долларов, а за углом такой же – за семьдесят, то Джонсы и им подобные предпочтут более дорогой вариант, чтобы покрасоваться перед коллегами или женщинами. Пого то же это понял.

«Сто четырнадцать долларов восемьдесят шесть центов», – ответил он. Сложно сказать, зависил Пого цену или нет. Насколько я мог рассмотреть, статуэтка изображала какое-то божество доколумбовых времён. До появления европейцев на месте Сан-Антонио существовала деревня Янагуана, что переводится как «освежающая вода». Там жили коакультеки, небольшое местное племя. Конечно, у них было своё искусство, имитации произведений которого широко распространены в Техасе в качестве сувениров с местным колоритом.

«Ты меня за дурака держишь? – вспыхнул Джонс. – Ты мне всякую дребедень не подсовывай!»

Он, кажется, забыл, что сам осведомился у бармена о цене статуэтки.

«Что-нибудь настоящее есть?»

Мне страшно хотелось ответить, что настоящие предметы той культуры нужно искать в антикварных и археологических лавках или на чёрном рынке, но я промолчал, чтобы не ввязываться в разговор с напыщенным глупцом.

Надо сказать, что сто долларов не были маленькими деньгами в то время. Даже сейчас, когда инфляция постепенно съела немалую часть их стоимости, они остаются вполне заметной суммой, а уж тогда, в 1967 году, никто бы не стал выбрасывать сотню на ветер. В межбанковских расчётах, конечно, используются даже купюры в сто тысяч долларов, напечатанные до 1936 года, но мы говорим про обыкновенные ходовые купюры.

Джонс смотрел на Пого выжидающе. Тот аккуратно забрался на небольшую лесенку, позволяющую достать товары и бутылки с верхних полок, и снял резную, тончайшей работы статуэтку, изображающую индейца, сидящего на корточках и курящего длинную трубку. Статуэтка была потёртой и явно старой, но, судя по технике исполнения, сделанной не раньше девятнадцатого века.

«Четыре тысячи восемьсот тридцать шесть долларов и три цента», – хладнокровно сказал Пого.

Джонс начал придирчиво рассматривать статуэтку.

«А что это?» – спросил он.

«Это статуэтка коакультекского вождя, сделана в конце восемнадцатого века резчиком по дереву Альфонсо Варгосом. Его работы есть в лучших музеях мира. Это – одна из первых работ, из коллекции хозяина отеля, мистера Рейна».

Мне показалось, что Пого откровенно врёт. Какой хозяин отеля станет выставлять столь ценную, по словам бармена, статуэтку на продажу в сувенирной лавке? Более того, если работы

этого Варгоса хранятся в лучших музеях мира, то почему эта стоит так дешево? Да и с хронологической оценкой создания изделия я вряд ли ошибся.

Джонс присмотрелся к статуэтке и внезапно сказал очень тихо и зло:

«Ты хочешь меня обмануть, полукровка».

Пого побледнел. Его кожа, более темная, чем у меня или у Джонса, все же была достаточно белой, чтобы я мог заметить бледность.

«Вы и в самом деле хотите очень дорогую вещь?» – спросил он тихо.

«Да», – улыбнулся Джонс.

Такая улыбка возникает на губах боксёра, когда он хочет подначить соперника – и ринуться в бой.

«Хорошо, мистер Джонс. Тогда нам нужно подняться в кабинет мистера Рейна».

У меня возникло твёрдое ощущение, что они говорили о какой-то конкретной вещи, причём оба прекрасно понимали, о чём речь. Я чувствовал себя лишним.

Джонс кивнул.

Пого нажал на кнопку, вызывающую портье, и, когда тот появился, сказал:

«Мы идём к мистеру Рейну. Предупреди его».

Портье кивнул и исчез. Пого внимательно посмотрел на Джонса, а потом – на меня.

«Я хотел бы пригласить вас в роли независимого свидетеля, сэр», – обратился ко мне бармен.

Джонс нахмурился, но промолчал: видимо, он знал, что так и будет. Я растерялся.

«Не беспокойтесь. Речь пойдёт всего лишь о крупной сделке, и вам нужно будет проследить, чтобы никто не нарушил условия. Я думаю, вы – честный человек».

Мне польстило такое утверждение. Особенно смешно вспоминать о нём сейчас, после этой истории. Но не буду забегать вперёд.

«Хорошо, – пожал плечами я. – Пойдёмте».

Пого шёл первым, за ним – Джонс, третьим – я.

Мы молча зашли в лифт, и тут Пого сделал нечто странное.

Над кнопкой с номером пять находилась – отдельно от остальной панели управления лифтом – пластинка с замочной скважиной. Я был уверен, что ключ просто даёт доступ к внутренностям панели управления для её ремонта, но я ошибался. Пого вставил ключик в замочную скважину и убрал пластинку: под ней пряталась кнопка шестого этажа.

Снаружи здания последнего этажа не видно. Вероятно, он не выходит окнами на улицу и по площади меньше, нежели крыша: только так я мог объяснить этот странный факт. Пого нажал кнопку, и лифт двинулся.

В то же время я заметил, что Джонс не выражает никакого удивления: он был готов ко всему.

Двери открылись, и мы попали в большую гостиную, по интерьеру не слишком отличающуюся от номеров отеля. То же роскошное убранство, толстые ковры, деревянная резная мебель. Перед нами стоял усатый портье. По го обратился ко мне и Джонсу:

«Джентльмены, прошу вас пару минут подождать. Располагайтесь так, как вам удобнее. Я сообщу мистеру Рейну, что вы прибыли».

Пого и портье исчезли за одной из дверей, а мы остались в гостиной. Я сел на диван. Окон в комнате не было, но солнце проникало через стеклянный потолок. Он был прикрыт полупрозрачной тканью, перетянутой системой вант. Я понял, что хозяин может регулировать прозрачность потолка при помощи специальной панели управления.

«Вам, наверное, интересно, что здесь происходит?» – громко спросил Джонс.

Мне было интересно, но совершенно не хотелось спрашивать об этом у Джонса. Тем не менее я пересилил свою неприязнь:

«Да, весьма».

«Х-ха! – хохотнул Джонс. – Вы и представить себе не можете, во что ввязались. Это легенда!»

Он умудрился прошептать последние слова, и всё равно его слышал, по-моему, весь город.

«Легенда?»

«Да! Когда пришли белые, местные индейцы отдали им всё золото, хотя у них-то его почти и не имелось, тут жили мелкие, нищие племена, столица ацтеков была много южнее. Их почти всех перебили. Но некоторые артефакты всё же сохранились».

Он замолчал. Мне показалось, что в нём боролись два человека. Один не хотел ничего рассказывать, выдавать тайну, а другой – настоящий Джонс – был готов выложить всё что угодно, лишь бы похвастаться.

«Это – шкатулка с приправами!» – сказал он с таинственным видом.

Наверное, по моему лицу он догадался, что понятнее не стало, и торопливо пояснил:

«С давних времён племя коакультеков хранило у себя шкатулку, сделанную, по преданию, чуть ли не две тысячи лет назад. В шкатулке были пряности и приправы – разные. Но не простые. Стоило добавить какую-нибудь из них в пищу – и мир вокруг изменялся. Одна, например, дарила здоровье, другая – богатство, третья – славу. Коакультеки так долго и существовали независимо от империи ацтеков, потому что вовремя пользовались шкатулкой. Говорят, они целые ритуальные обряды проводили, целые варева с этими приправами готовили, но использовали за раз только крошечную щепотку, чтобы не расходовать зазря».

«И вы думаете, что это правда?»

«Я знаю, что это правда. Я проследил всю историю – из чьих рук и в чьи шкатулка переходила, и вот я здесь, я не ошибся. Этот Рейн продаст мне её».

«А почему вы решили, что он её продаст?»

«Потому что владеющий шкатулкой не может кое-чего: он не может иметь друзей, не может иметь детей и не стареет, пока не продаст её».

Мне вспомнился рассказ Роберта Льюиса Стивенсона о сатанинской бутылке. Правда, там всё обстояло несколько иначе: бутылку требовалось продать за меньшую цену, чем та, за которую она была куплена. А тот, кто умирал, оставаясь владельцем бутылки, был обречён гореть в аду. В существовании ада я сомневаюсь до сих пор, а вот бездетность вкупе с бессмертием и отсутствием друзей может кому-то и не понравиться.

«То есть владелец шкатулки рано или поздно захочет от неё избавиться?»

«Именно так».

«А если у человека, который получает шкатулку, уже есть дети?»

«Они умрут», – ответил Джонс.

«А если умрёт владелец?» – спросил я, и тут перед нами появился Пого.

«Шкатулка найдёт себе нового», – сказал он.

Пого был одет в очень дорогой костюм. Это чувствовалось по покрою, по качеству ткани. Более того, бывший бармен преобразился: теперь в нём ощущалась властность, присущая только очень богатым людям. Его красивое лицо выражало некоторое презрение к Джонсу (на свой счёт я это выражение не относил), а в глазах горели огоньки. Стало понятно, что Пого старше, чем казался, и что ему около сорока. Об этом говорили крошечные морщинки около глаз, кожа, но все эти мелочи стали заметны только теперь, по обретении нового имиджа.

«Позвольте представиться: Пого Рейн».

Сложно сказать, поверил я сказке о шкатулке или нет. В своей жизни я повидал немало удивительного, но в то же время моя работа частенько опускала меня с небес на землю. Я гораздо больше доверял накладным и сметам, нежели легендам об ацтекских божествах.

«А вот и предмет нашего разговора», – Рейн повёл рукой, и швейцар внёс в комнату небольшую резную шкатулку.

Я внимательно присмотрелся к артефакту. Шкатулка никак не могла быть изготовлена до появления европейцев. Об этом говорило то, что сортов дерева было использовано несколько и они были склеены; внешняя обработка, форма шкатулки, лакировка – всё это однозначно свидетельствовало о восемнадцатом веке, не раньше. Джонс тоже обратил на это внимание:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.